

Надежда
Чернова



ЛЕТЯЩИЕ В ТУМАНЕ

(Весёлые мемуары)

ЯБЛОКИ ИЗ РАЯ ИТКИНДА

Машаковы

Приезжая в Алма-Ату, я останавливалась у моей школьной подруги Галии Машаковой, с которой дружу с семи лет. Когда-то её семья жила в Семипалатинске, в Татарской слободе. Я приходила к ним, забиралась на сундук, покрытый лоскутной курпешкой, и читала книги – у них была хорошая библиотека. Потом Машаковы переехали в Алма-Ату. Отец Галии – Саду Машаков – был известным казахским поэтом, работал в главной газете республики «Социалистик Казахстан». Однажды Саду вместе со старшим сыном Маговьёй, почитав мои стихи, решили, что надо из меня делать вторую Римму Казакову. Была тогда такая поэтесса – из фабричных девчонок, которая писала дерзкие стихи, и её имя гремело по всей стране. Слава Богу, ни второй, ни двадцать второй Риммы Казаковой из меня не получилось, но порыв Машаковых я вспоминаю с благодарностью.

У Галии были свои представления, как должна выглядеть настоящая поэтесса. Она бестрепетной рукой обрезала мои косы, а лохмы выкрасила в рыжий цвет, заодно и сама покрасилась, к ужасу родителей. Было обрезано и моё единственное платье, отчего тут же обнажились сбитые коленки. В юности я не ходила, а летала, и часто падала, сбивая локти и колени. И вот на другое утро меня, в клоунском раскрасе и со сбитыми коленками, Саду и Маговья потащили в редакцию «Казахстанской правды», к самой известной в Алма-Ате поэтессе Руфи Тамариной, которая работала в отделе культуры. С трепетом вошла я под божественные своды главной (русскоязычной) газеты страны. К нам вышла Руфь – и рассмеялась: её пышный начёс тоже был выкрашен в рыжий цвет. Отсидевшая восемь лет в Степлаге, она рано поседела. Но ещё больше Руфь развеселилась, когда развернула тетрадку с моими стихами. Первым стояло стихотворение «Рыжий Колька». Нехитрый, полудетский этот стишок впервые был напечатан в школьной стенной газете, и один из моих соклассников немедленно опознал в «рыжем Кольке» себя, после чего отлупил меня портфелем с криками: «Вот тебе,

Продолжение. Начало в №7, 2020.



вот тебе, поэтка! Ещё напишешь – убью!» Так я узнала, как тяжела стезя поэта, который терпит гонения тёмных народных масс. А вот Руфи стихи понравились, и она напечатала в «Казправде» целую подборку, только добавила, что неплохо было бы подтянуть грамматику.

Цветаева и мы

Была у меня в то время, в 60-е годы, ещё одна подружка, Светлана Штейнград. Она тоже писала стихи. Мы с ней погодки, потому быстро сошлись, познакомившись на литобъединении в Союзе писателей. Приезжая в Алма-Ату, я всегда приходила к ней в гости, и её матушка, тётя Фаина кормила вкуснейшим борщом, вздыхая о моей худобе. Это была бесконечно добрая женщина, с округлой полнотой и при этом тонкой девичьей талией. Отец Светы, дядя Саша, высокий, худощавый, работал директором школы и даже дома ходил в костюме и галстук, по крайней мере, Светкиных друзей он встречал именно так. Жили Штейнграды около парка Горького, в глиняном доме, стерильно чистом, белёном голубоватой известью. После борща мы со Светкой забирались в дебри вишнёвого сада, поехали вишню и читали стихи. Светка тогда упивалась Мариной Цветаевой, особенно ей нравились эти строки:

«Продолговатый и твёрдый овал, / Чёрного платья раструбы... / Юная бабушка! Кто целовал / Ваши надменные губы?..»

Меня же Цветаева не впечатляла: больно уж манерная! И я говорила, что думала. Светка удивлялась:

– Как ты не боишься в этом признаться? Теперь все восхищаются Цветаевой, даже если и не понимают её – так принято, иначе тебя будут считать недалёкой и необразованной.

– Ну, значит, я недалёкая.

Книга Цветаевой у меня была, стихи её я прочитала, но всё равно не полюбила. Только много времени спустя я перевернулась к ней, когда узнала её трагическую судьбу, когда она близко подошла ко мне – через моего второго мужа Игоря Бек-Софиева. Тогда я по-новому прочитала её стихи, ни на кого не похожие, сильные, как удар морской волны: *«Кто создан из камня, кто создан из глины, – / А я се-ребрюсь и сверкаю! / Мне дело – измена, мне имя – Марина, / Я – брэнная пена морская!»* Я даже находила в её строках много общего с моим стремлением к яркости красок, к страсти.

Игорь вспоминал, что, живя в Париже, он вместе с родителями часто гулял в Медонском лесу, по соседству с которым поселился друг отца, поэт Виктор Мамченко, Марина Цветаева тоже там жила. Они часто встречались. Он запомнил её: с чёлкой до глаз, угловатую, резкую в разговоре. Марина Ивановна подправляла ранние стихи его матери, Ирины Кнорринг, и юная Ирина была недовольна правкой. А потом они и вовсе разошлись. В своей книге «Марина Цветаева: преддверье» (Москва, Возвращение, 2019) И. М. Невзорова пытается объяснить холодность Марины к Ирине Кнорринг. Сначала – поэтический конкурс, который устроила эмигрантская газета «Звено» в 1926 году (для привлечения читателей). Было прислано 322 стихотворения, в том числе от Марины Цветаевой и Ирины Кнорринг. На кону стояла премия: 200 франков за 1-е место, и 100 – за 2-е. Поэты-эмигранты терпели нужду, потому ринулись в этот конкурс. Победили малозначительные

(рядом с Цветаевой!) поэты: А. Гингер и Д. Резников. В Союзе молодых русских поэтов и писателей Франции изначально скептически относились к конкурсу: «Своих проведут всё равно!» (Ох уж, эти конкурсы! Ничего не изменилось с тех пор, и теперь «своих проводят»). В жюри конкурса были: Г. Адамович, К. Мочульский и З. Гиппиус.

«В полном тройственном согласии, – признавался Г. Адамович, – мы забраковали, как совсем негодное, стихотворение Цветаевой».

Ирина Кнорринг тоже не победила, но её конкурсное стихотворение всё же напечатали. Цветаевой было отказано даже в этом. Она оскорбилась. И хотя Ирина не была виновата в решении жюри, у Цветаевой, видимо, всё же остался неприятный осадок. А тут ещё любовная история: обе поэтессы увлеклись молодым красавцем-филологом Борисом Унбегауном. Это был известный славист, профессор Парижского университета и Школы восточных языков. Влюблённые поэтессы наперебой говорили о нём: «как день хорош», «умён и талантлив, блестящий молодой учёный... неустанный пешеход...» и т. д. Ирина посвятила ему два стиха, и в них писала о своём преступном наваждении, ведь была замужем:

«Зачем я прихожу в ваш тёмный дом? / Зачем стою у вашей страшной двери? / Не для того ль, чтобы опять вдвоём / Считать непоправимые потери? / Опять смотреть беспомощно в глаза? / Искать слова? Не находить ответа? / Чтоб снова было нечего сказать / О главном, о запутанном. / Об этом...»

«Измены нет. И это слово / Ни разу не слетело с губ. / И ничего не стало новым / В привычно-будничном кругу. / Измены нет. / Но где-то в тайне, / Там, где душа совсем темна, / В воображаемом романе / Она уже совершена...»

Игорь вспоминал, как они с матерью ходили в гости к Унбегауну – в отсутствие жены филолога, Елены, которая тоже пописывала стихи и с которой Ирина дружила, и часто они гуляли вместе с детьми в Люксембургском саду, рядом с которым жили Унбегауны. Игорь запомнил странное облако отчуждённости от него, едва мать входила в дом «друга семьи»: она внезапно делалась бледной, а Унбегаун впадал в необычайное, нервное волнение. Муж Ирины, тоже поэт, с кавказскими кровями, Юрий Бек-Софиев, узнав о тайных встречах, написал «филологу» гневное письмо. Случись всё в XIX веке, послание бы это могло быть вызовом на дуэль. К счастью, Унбегаун вскоре уехал на юг, где его «поджидала» Цветаева.

«Был у меня и молодой собеседник – моложе меня на десять лет, – писала она летом 1934 года подруге А. Берг, – который приходил ко мне по вечерам на мою скворешенную лестницу – вечером гулять нельзя, п. ч. совершенно черно и всё время оступаешься, а в комнате спит Мур – вот и сидели на лестнице: я повыше, он – пониже, беседовали – он очень любил стихи – но не так уж очень, ибо с приездом моей дочери... сразу подменил меня, живую, меня – меня – понятием «*Votre maman*». Пишу Вам об этом совершенно просто, ибо я всё ещё – на верху лестницы, и спускаться не собираюсь...»

Но это была только внешняя поза равнодушия к вероломному поступку кавалера, на самом деле она была уязвлена, стала писать поэму «Певница»: где «женская обида – невом». «На верху лестницы» была она и с Ириной Кнорринг: знала о «романе» с Унбегауном, и нигде, никогда не упоминала об Ирине Николаевне, хотя у них был общий круг общения, выступали на одних вечерах поэзии, гуляли

в Медонском лесу и т. д. О множестве других русских эмигрантов-литераторов написала она в своих книгах, письмах и дневниках. Об Ирине Кнорринг – ни слова. Неужели и впрямь эта холодность лежит вне литературы, как иногда бывает? Неужели – женская обида и ревность? *«Ибо с гордыни своей, как с кедра, / Мир озираю...»*: ведь коварный Унбегаун всякий раз её мудрости и таланту предпочитал – молодость, а Марина всегда была: *«Vorte taman»*. С этим она никак не могла смириться. Молодость – вот главная вина Ирины Кнорринг! А так-то Ирина, как поэт, с её негромким голосом, конечно же, не была соперницей великой Марине Цветаевой.

* * *

Кроме стихов Цветаевой обсуждали мы со Светкой ещё разные девичьи дела и кавалеров. У Светки имелся настоящий жених – астроном Толик Аксёнов. Мне он казался необыкновенным, небожителем, и я Светке слегка завидовала. Толик, молчаливый, стеснительный парень, был в самом деле небожителем – немного не от мира сего. Вскоре Светка выйдет за него замуж и родит талантливую девочку Аську, такую же странноватую, как и Толик. Помню Аськины детские стишки – она тоже сочиняла: *«Скипидаром мне намажь / Спину, шею, лимпоаж. / На кровати я лежу, / Прямо крыльями машу!»* Мы так и не смогли добиться, кто такой этот её загадочный *«лимпоаж»*. А пока Аськи ещё не было, пока Светка с Толиком активно женихались. Светка посвящала ему стихи: *«Я хочу стирать тебе рубашки...»*, *«Душа была Вселенною когда-то, в туманностях и звёздах растворялась...»*. Он по-детски верил в эти строки и не знал, что на самом деле Светка грезит о мифическом дикаре из своих снов. Ей постоянно снился один экзотический сон: будто тащит её за косы – по песку пустыни Негев – какой-то бородатый, рыжий мужик, тащит к пёстрому шатру, грубо берёт её, и Светка переживает во сне ослепительный восторг. Спустя много лет она-таки уедет в Израиль и найдёт человека из пустыни Негев. С тихим Толиком разведётся, и он, как нормальный русский человек, запыёт. Их дочь Аська примет сторону отца и перестанет общаться с матерью, ноотрез отказавшись переезжать из Москвы в Израиль.

А ещё снились Светке – и здесь, и там – ностальгические сны об алма-атинском послевоенном детстве. Она жила тогда на зелёной горе Коктюбе. Писала в своих книгах: *«Человек тоскует по детству, по утраченному бессмертию...»*, *«...В полдень высыхало речки устье, / Кровь стучала в солнечных висках, / И сжималось сердце от предчувствий / Прошлого, пропавшего в песках... / Рядом овцы бляели, и козы / Хрумкали зелёною травой. / Цикали цикады, и стрекозы / Утомляли крылья синевой... / Возле клуба радио ревели: / «Дело отравителей врачей!» / Я домой бежала и редела: / «Папа, неужели ты – еврей?»*

Астроном Толик Аксёнов спускался с гор, из обсерватории, пропахший вечными снегами и облаками, и Светка таскала его по разным литературным тусовкам – показывала, как пришельца с другой планеты. От тусовок Толик уставал, дурел и сбегал в свои горы. Раздвигал створы купола, настраивал телескоп и слушал звёзды. Великим покоем и гармонией дышало небо. И вокруг, в горах был покой. Цвели эдельвейсы. На снежных склонах синели лунки, что оставляли быстрые копытца горных коз. Толик рвал букетики эдельвейсов для Светки и спускался к ней: любовь гнала его в город!

Между рыбой-фиш и любовью

Кроме литературных тусовок Светка водила Толика и по своим знакомым, в том числе к известному в Алма-Ате скульптору Исааку Яковлевичу Иткинду. Светкины родители помогли Иткинду, когда он бедствовал, оказавшись тут после ссылки. А вызволил его из заключения в 1944 году, как он говорил, «один хороший человек Ашимбек Бектасов, глава Акмолинского облисполкома». И сколько было тогда, в волчьи времена, таких хороших людей! Многие из них безымянны, но милосердие их равно подвигу. Репрессированный в 1937 году, Иткинд семь лет жил в маленьком посёлке Зеренда (кстати, очень живописном, сейчас там курорт, а тогда «курорт» был строгого режима, за колочкой). Вместе с Иткиндом отбывала срок и его жена, которую он там же и похоронил, и сам почти умирал от голода и болезней. Человек он был не от мира сего и житейски совершенно беспомощный, но ему везло на хороших людей, и он выжил, как и другой сиделец, писатель Юрий Домбровский, попавший сюда двадцатидвухлетним мальчишкой. В Талгаре был приёмник ссыльных и комендатура, где прошли первые, самые тяжёлые месяцы для него. На работу его нигде не брали, и он умирал от голода. Спасла его местная казашка, у которой была куча ребятишек, но она стала подкармливать Юрия. А после очередной отсидки, вернувшись в Алма-Ату, Юрий Осипович снова стал пропадать, сильно болея: его мучила эпилепсия, из-за которой он и был освобождён досрочно – умирать, но его выходила снова женщина, Любовь Ильинична Крупникова – на Колыме он сидел в одном лагере с её мужем, который там погиб. Она не только лечила его, кормила, но и помогала в творчестве: приносила стопки книг, переписывала его рукописи и т. д. В одном из лагерей ГУЛАГа казахские дети бросали узникам кусочки курта, которые конвоиры приняли за камни, а это была еда, спасавшая от голода. Друг моего отца, поляк Михаил Микитинский – Мика, в начале 30-х из Ленинграда был выслан с матерью под Семипалатинск, они жили на выселках деревни Бородулихи. Отец его был расстрелян как враг народа. Общаться с Микитинскими было опасно, но отец мой с Микой дружил, ходил к ним, и сестра моего отца, Нюра, посылала Микитинским то картошки, то кусок хлеба, хотя сами не особо сытно жили: «Отнеси им, а то Мика то худющий, как курёнок, того гляди, помрёт. И у самой, в чём токо душа держится. Жалко мне их!» Мика выжил, но, повзрослев, уже в 40-е тоже стал узником лагеря за Полярным кругом, потому что сказал о Сталине, что у него маниакальные наклонности тирана. Условия на Севере были нечеловеческие, он заболел туберкулёзом и кашлял кровью. Сидевший с ним священник покрестил его, научил молитвам, а ещё его тайком лечила и подкармливала вольнонаёмная девушка по имени Валентина, которую он полюбил и на которой потом женился, выйдя на свободу. Таких примеров милосердия и стойкости духа много. Я не раз ещё буду рассказывать о них, вспоминая разных людей моего времени. Кто-то же должен о них рассказать? На Востоке есть изречение: «Когда встаёт стена зла – в ответ поднимается стена добра». И эта стена добра в подлые сталинские времена оказалась выше стены зла.

* * *

Однажды Светка повела к Иткинду и меня. Иткинд жил в Малой станице. Это был колоритный старик. Несмотря на свой маленький рост, он казался огромным. Его тёмное, библейское лицо с лукавой улыбкой Сатира обрамляла длинная борода и торчащие во все стороны седые кудри. Когда-то он учился на равнина, но потом

бросил: сманило его искусство, и он занялся писанием рассказов, а ещё вырезал из дерева скульптуры. Его работы восхищали мецената Мамонтова, скульптора Антокольского, художника Коненкова, Горького и Луначарского, но годы лагерного небытия сделали своё дело – Иткинда забыли. Он медленно возвращал себя как талантливое ваятеля. Несколько его работ хранятся в картинной галерее им. Кастеева в Алма-Ате, а также в частных коллекциях, но имя его по-прежнему – увы! – не известно большому миру искусства.

Иткинд оригинально толковал Ветхий Завет – особенно ту часть, которая говорит о рае и первородном грехе. Он утверждал, что побывал в раю, но вместо того чтобы вкусить от яблока познания и предаться чувственным удовольствиям, он собрал райские яблоки, продал их на алма-атинском базаре и купил несколько хороших коряг в Ботаническом саду для своих скульптур. История была похожа на правду. Его жена Соня – простонародного вида и лет на сорок моложе его – ворчала, что весь дом и двор завален «дровами». Иногда она порывалась сечь «дрова» в печи. Белёную печь их избушки в Малой станице Иткинд разрисовал цветущими водорослями, а из-за печи выглядывало жёлтое лицо с кричащим ртом – фрагмент скульптуры «Жертвы фашизма». Но Иткинд лукавил, когда говорил, что чувственные удовольствия его не прельщали. В этом он себе тоже не отказывал. Однажды город заказал ему бюст Джамбула, для этого даже выделил мастерскую. В договорённый срок работа не была сделана. Вызвали его на ковёр:

– В чём дело, товарищ Иткинд? Где Джамбул? Безобразие! И женщину у вас в мастерской видели. Чем вы там вообще занимаетесь?

Иткинд простодушно ответил:

– Мы делаем маленьких Джамбульчиков!

Когда я приходила к нему, он восторженно кричал:

– Богема! Богема!

Почему «богема»? Никогда не жила я богемной жизнью, и к нему приходила в тёмно-синем вельветовом платье в мелкий горошек, с кружевным круглым воротничком. Совершенно невинный вид. Иткинд непременно усаживал меня рядом, обнимал за талию, тискал – а было ему уже лет сто! Соня нервничала, требовала:

– Девочка, отсыдь от Иткинда!

Иткинд рассказывал о своей бурной жизни, о встречах с Маяковским в Москве, о первых своих рассказах, которые там были напечатаны, о нынешних замыслах ваятеля, о колоритной еврейской свадьбе и других обычаях. Не всё можно было понять из его рассказов, потому что он очень плохо говорил по-русски, но так вдохновенно, что сама речь его завораживала. Соня сидела в уголке, возложив руки на живот, и вставляла свои монологи:

– Ёсиф, нынче яички на рынке подорожали, а картошка дешёвая.

Он про еврейских девочек: «Как только у них появится первый волосок под мышками, их отдают замуж...», Соня – про своё:

– Ёсиф, я накрутила щучий фарш, будет рыба-фиш.

Услышав о рыбе, Иткинд отвлекался от девочек, кричал жене:

– Соня, как я тебя люблю!

А потом вёл меня в сарай, ветхая дверь которого была закрыта на огромный амбарный замок, и показывал точёную из дерева скульптуру прекрасной Марии – своей любимой, с которой разлучила его судьба. Я не помню историю их любви, но помню печаль Иткинда, и то, как он гладил Марию по струящимся волосам.

по нежному её лицу с еле заметной улыбкой, похожей на улыбку Джоконды. Мария улыбалась от прикосновений его ладоней. Сквозь щели сарая пробивались длинные полосы света, озаряли её лицо, колебались бликами, и лицо оживало. Живые глаза глядели на Иткинда с нежностью, и, казалось, в них дрожат слёзы, как дрожали они и в глазах скульптора.

Мария жила то в саду под тряпьем, то за дровяными горами, то вот теперь в запертом сарае. Иткинд прятал Марию от ревнивой Сони, но она всё равно находила и грозила сжечь, и приходилось Марию перепрятывать. Но Соню он не бросал. Это она спасла его, когда он оказался здесь – отверженный, падавший от истощения. Соня привела его в свой дом. Соня его откормила. Соня терпела его странности и романы, когда он делал «маленьких Джамбульчиков». Соня стала ему и сестрой, и матерью, и подругой, хотя ни черта не понимала в искусстве, но зато хорошо готовила рыбу-фиш.

– Прости, Мария! – говорил Иткинд своей любимой. – Я тебя не предавал, но рыба-фиш... Ты же знаешь, это моя слабость... И потом, порядочный человек должен быть женат, а я таки порядочный...

Всякий раз он угощал меня яблоками из своего сада. Шла я как-то от него и от Марии с этими яблоками тёмными дворами микрорайонов, улыбаясь от переполнявшей меня счастливой радости, от прикосновения к чему-то небесному, что ли, необыкновенному, и тут из переулка вылетели бандиты – группа подростков. Вырвали сумку, вытрясли из неё всё, взяли кошелёк и убежали. Я продолжала улыбаться, будто спала, и грабёж мне снился. Собрала рассыпанные яблоки и побрела дальше, пребывая в раю Иткинда. В таком блаженном состоянии и домой пришла – к Галие. И только глубокой ночью, уже в постели, расплакалась, осознав, наконец, что случилось что-то страшное. Даже не денег было жалко, а убивало надругательство над моими возвышенными чувствами.

– Да что с тобой? Чего ты ревьешь? – не понимала Галия.

Захлёбываясь рыданиями, я кое-как вымолвила:

– Меня, кажется, ограбили... Они, они... Иткинд так любит Марию, а они...

Галия заставила всё рассказать. Долго успокаивала мою истерику:

– Да не реви ты! – и сама давай реветь, вместе со мной.

Так и уснули, обнявшись, обе в слезах.

А потом Галия познакомила меня со своим соседом – Олегом Новожиловым, и у меня тоже, как у Светки Аксёновой, появился настоящий жених. Должна признаться, что вначале я влюбилась в его библиотеку, в книжные стеллажи от пола до потолка, а также в старинную пишущую машинку «Ремингтон» – её когда-то из Америки привезла одна из тётушек Олега, которая там работала переводчицей. На этой машинке Олег учил меня печатать. Так что путь к сердцу девушки лежал через книги и «Ремингтон». Однажды Олег предложил поднять меня, чтобы я посмотрела книги на верхних полках его библиотеки. Поднял, обняв, и всё – после этого мы не расставались 24 года.

На языке трав

Господи, зачем я всё это пишу? Некстати, а, может, как раз кстати, пришли на ум слова Константина Батюшкова – поэта XIX века (в лицейские годы Пушкин зачитывался его стихами, а повзрослев, уличил в подражательстве французам):

«Отчего Кантемира читаешь с удовольствием? – Оттого, что он пишет о себе. Отчего Шаликова читаешь с досадою? – Оттого, что он пишет о себе».

Так, может, и мои «воспоминания о себе» – это всего лишь пустые сочинения *«Шаликова»*? Сомнения, сомнения... А потом так раздумаюсь, что дохожу вовсе до смешного: а что, если в будущем люди настолько видоизменятся, что станут общаться с помощью вибраций, как рыбы, или путём телепатии как весь животный мир, и Слово – в том числе, и литературное – им станет не нужно? Если кому-то сильно повезёт, то переведут его на рыбий язык, либо марсианский – какое-нибудь гудение, шипение или ультразвук. Мне бы хотелось звучать на травяном наречии запахов – медовом и полынном. Но тут уж я размечталась! Пожалуй, и запахов мне не достанется, не то что гудения или шипения: невелика сошка.

Вспомнился анекдот. Рассуждают двое о конце света. Один говорит: «По новым сведениям, конец света наступит через миллиард лет!» – «Ну, слава Богу, что не через миллион, а то я уж начал волноваться!» – восклицает другой.

И нам не стоит волноваться на ближайшие миллионы лет, а травой и теперь можно стать: медуницей или чертополохом, смотря по тому, кем ты был при жизни. Задумывался об этом и поэт Геннадий Кругляков: *«И каждым летом тысячью корней / Взойдёт моё подобье...»* Но пока я не проросла травой, пока совсем не потеряла память – пишу. Пока пишу – живу, и эти мои записки – скорее, для себя, чем в назидание потомкам – я посылаю в никуда, в неведомые мне пространства, откуда даже эхо не отвечает. Есть некое внутреннее убеждение, что я должна писать, а зачем – не мне судить... Не знаю, что получается: мемуары не мемуары, но точно и не роман. Правильные романы писал Тургенев, начитавшись французов, а так-то мало кто справляется с этим жанром. Даже у Льва Толстого роман «Война и мир» – это и роман, и дневник (когда он писал «Войну и мир», то забросил дневник, который вёл смолоду), и по временам философское эссе, и планы военных действий, и французский словарь. Это прообраз нынешней прозы, где жанры условны, перемешаны, и всё более склоняются к документалистике. В 1909 году Л. Толстой говорил А. В. Гольденвейзеру:

«Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы, не как статья, рассуждения и не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь...»

Вот и я «выливаю» то, что сильно чувствую и помню, и, похоже, «вне всякой формы».

«На старости я сызнова живу – минувшее проходит предо мною...», – я снова открываю Пушкина на этих строках. Да, да! Я сызнова живу, потому что начинаю понимать прожитое – на фоне личных и мировых катастроф, на фоне великой литературы, на фоне любви, ведь всякая жизнь – от любви. Я возвращаю прожитую жизнь и людей, которые были мне дороги, и снова проживаю минувшее вместе с ними. И это не просто записки памяти – это творческое, литературное осмысление прошлой жизни, но уже в фокусе нынешних дней. И если моя жизнь, моё творчество не столь уж значительны – рядом с Пушкиным, Толстым, Шекспиром и другими мировыми величинами, то судьбы людей и то время, в какое все мы жили и живём, несомненно, достойны описания и памяти – и осмысления. О том

же думал и знаменитый в русском зарубежье поэт Юрий Терапиано. Он писал о своём поколении в статье «Человек 30-х годов»:

«В каждом столетии люди наново отражают вневременный, целостный момент – жизнь... И чем напряжённее внешняя обстановка данного столетия, чем страшнее, беспощаднее состояние души, тем высота постигаемого, хочется верить, должна быть человечнее и чище...»

Образцово-показательный жених

Машаковы и Новожиловы жили в новом микрорайоне, построенном по французскому проекту для работников культуры: отец Олега – Геннадий Николаевич – работал на «Казахфильме», кинооператором «Хроники». Приехал сюда в 1937 году от «Ленфильма» помогать в становлении казахского кино и чтобы показывать жизнь Казахстана советскому зрителю, но и зарубежный потом, уже в 70-х годах, увидел его документальный фильм о национальных видах спорта. Фильм получил премию во Франции. Был известен и его фильм о мараловодах «Голубой Алтай». Когда жил ещё в Ленинграде, в 30-е годы, снимал маршала Тухачевского и академика Павлова, вдову Дмитрия Менделеева, Анну Ивановну, и писателя Алексея Толстого. О Толстом Геннадий Николаевич вспоминал, как вместе с товарищами по съёмочной группе сопровождал «красного графа» в поездке к избирателям Старо-Русского избирательного округа, которые выдвинули писателя своим кандидатом в депутаты Верховного Совета. В колхозах Алексея Толстого встречали великолепно, хотя были и недоразумения: некоторые думали, что это Лев Толстой, но почему-то не брали в расчёт, что он давно умер. Ещё и удивлялись, зачем Лев Толстой сбрил бороду, о чём и спросили выдвигенца в депутаты. Ходил Г. Н. Новожилов и в плавание с крейсером «Аврора», и с ледоколом «Красин». На «Красине» застрял во льдах Диксона. Шлёт радиограмму жене: «Сижу в Диксоне на “Красине”». Телеграфистка всё перепутала, и жена получила телеграмму такого содержания: «Сижу в такси на керосине». В семье был переполох, гадали, куда он мог попасть? Уже было, когда он снимал с подводной лодки, которая погружалась в море, идущие следом корабли. Чуть не утонул! Едва успели его схватить за ноги и утянуть в лодку. Мог и пострадать, снимая плавку металла в мартеновской печи Донецка: перчатки на нём сгорели, развалились на куски, но величественное зрелище огненной реки было снято.

В то время микрорайон № 3 располагался на окраине города, как бы теперь сказали: в экологически чистом районе. С альпийских лугов прилетали запахи снега и цветущего разнотравья, прибежали лисицы и белки, стремительными стрелами пронеслись соколы, через дорогу – до самых гор – простирались яблоневые сады, кукурузные и клубничные плантации. Мы ходили воровать кукурузу, но как из-под земли вырастал на коне сторож-чеченец и взмахивал длинным хлыстом.

Среди панельных коробок домов, во дворах которых были ажурные беседки и маленькие круглые бассейны, можно было встретить немало знаменитостей. К бочке с грушевым квасом часто приходил диковинный человек в мешковатой хламиде, в ярких штанах с лампасами, с холщовой сумой, на которой был нарисован голубь, – театральным художником Сергей Калмыков: он жил в соседнем доме, рядом с нами, и говорят, в квартире у него не было никакой мебели. Он

спал на полу, на слоях газет, под которые прятал свои картины – яркие акварели и гуашь. Они теперь стоят очень больших денег. После смерти художника эти картины вместе с газетами были вынесены новыми жильцами на помойку, и их чудом спас писатель Олег Меркулов, который дружил с Калмыковым и жил по соседству. Работы эти стали частью его уникальной коллекции живописи.

К Новожиловым заскакивал режиссёр «Казахфильма» Шакен Айманов – перехватить трёшку: он был навеселе, и для пущего веселья как раз не хватало ещё трёшки. Если молодёжь во дворе начинала петь под гитару, то из окна нашего дома высовывался кинооператор «Казахфильма» Сигов и стрелял из воздушки. Молодёжь убегала, но тут на соседнем балконе начинал распеваться оперный баритон – и Сигов снова стрелял, требуя тишины. У него было трое детей, и они не могли заснуть. Младший, Федька, снимался в фильме «Сказ о матери» – играл эвакуированного мальчишку, отощавшего в ленинградской блокаде. Федьке не надо было специально худеть – он от природы «кощот» (так обзывали его мальчишки во дворе). И сам Сигов был похож на Кощея. Сухопарый, желчный человек, он любил рассказывать о встречах с художниками-карикатуристами Кукрыниксами, с кинорежиссёром Пырьевым, с Дзигой Вертовым, с актрисой Лидией Смирновой или писателем Алексеем Толстым, но, рассказывая, непременно находил у них какие-нибудь скверные недостатки и тут же переключался на это, низводя всех великих до ничтожеств. Есть такая порода людей, которая призвана напоминать гению, что пока его «не требует к заветной жертве Аполлон», то «среди детей ничтожных света, быть может, всех ничтожней он». Пушкин всё же сомневался в этом постулате, говорил осторожное: «быть может», а для таких, как Сигов, никаких «быть может» не существует: они твёрдо знают – ничтожней! Например, вдова одного профессора говорила о Ломоносове:

– О каком Ломоносове говорите вы? Не о Михайле ли Васильевиче? То-то был пустой человек! Бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником.

* * *

Вот что я узнала об Олеге: служил в армии в Германии, в Потсдаме, в войсках связи, писал матери о красотах дворца Сан-Суси. Она не разделила его восторгов, ответила сдержанно и потребовала, чтобы после армии он не домой ехал, а в Ленинград, и пусть тогда скажет, что лучше: Сан-Суси или дворцы Петербурга? Он не посмел послушаться матери – так и сделал, поступив в морское училище в Питере. О Ленинграде писал ей взхлёб – и она его простила, а морское дело ему не понравилось, и он вернулся в Алма-Ату. Работал на Кировском заводе и учился на рабфаке, где преподавала молодая поэтесса Инна Потахина, потом поступил в КазГУ, на филфак. Диплом защищал у выдающегося учёного, профессора Махмудова. Хотел стать настоящим просветителем, подвижником науки – в деревню поедет, хотя мама уговаривает остаться в столице, но тут уж он её не будет слушать: в деревню – и точка!

И он поехал – в целинный совхоз, в Синегорье, в небольшую сельскую школу, и я – за ним, как декабристка. Олег стал заслуженным учителем, получил орден «Дружбы народов» и наручные часы с росписью самого Кунаева. Олег был образцово-показательным женихом – без недостатков. Но после жизни со мной недостатки у него появились.

«Партия салоедов»

Иногда Олег приглашал меня на семейные обеды. В зале стоял сверкающий лаком венгерский гарнитур, на серванте – роскошная китайская ваза, стол застилался туго накрахмаленной скатертью с вензелями, на таких же салфетках лежали серебряные приборы. Мать Олега была настоящая петербургская дама, с дворянской кровью, но об этом умалчивали. Тогда в почёте было рабоче-крестьянское происхождение, к коему принадлежала я.

Когда Олег умирал, то просил меня, чтобы я чай ему подавала в изящной чашке саксонского фарфора и непременно с серебряной ложечкой, на крахмальной салфетке, хотя двадцать четыре года в браке со мной никогда не выказывал он своего дворянства и вёл себя вполне демократично, попивая чай из дешёвых гранёных стаканов в жестяных подстаканниках. В предсмертном бреду он видел мать и говорил мне:

– Она сидит на краю кровати, отодвинься! Иди, надень красивое платье, мама сердится, что ты в трапезе...

Семейные обеды были похожи на некий священный ритуал. К столу все переоделись, и сама Людмила Викторовна облачалась в нарядное платье (я никогда не видела её в халате). Её гордое лицо, мраморное, с породистым носом, осеняла голубоватая седина. По-царски величественно вносила она в обеденный зал красивое блюдо с уткой в яблоках. Я сидела, как замороженная, боясь сделать что-нибудь не так, и была иллюстрацией к шутке: «Экзамен в школе хороших манер: в какой руке держать вилку, если в правой ты держишь котлету?» Стыдно признаться, но в восемнадцать лет я не умела пользоваться столовыми приборами, если их больше одной штуки, а уж есть утку было для меня полной катастрофой, и я отказалась, сославшись на то, что утку не люблю, чем ещё больше, мне кажется, расстроила мать Олега, и она, наверно, окончательно решила, что я невоспитанная простушка и сыну её уж точно не пара. Не парой была и первая его жена – Галина, хотя она-то не простушка, а дочка алтайского писателя Енчинова, но тоже не нравилась маме. Олег познакомился с ней на студенческой конференции в Киргизии. Галина соблазнила Олега – она была его первой женщиной. Через год он узнал, что она родила дочь и сдала в детдом, а сама загуляла. Весёлая была девушка! Олег поехал в Киргизию, чтобы забрать ребёнка из детдома, а ему не отдают: «Сначала женись!» Пришлось жениться на Галине, забрать дочку, и какое-то время девочка росла в семье Новожиловых, потом её взяла алтайская бабушка, а Галина снова загуляла. Олег с ней развёлся. Я слышала, как мать говорила Олегу, вызвав на кухню помочь с посудой:

– Тебе что, Галины было мало? Связался чёрт с младенцем! Зачем она тебе? И потом, она же из простой семьи... деревенская... чаем швыркает... Сказал бы уж ей, что неприлично!

«Деревенским» был и новоиспечённый муж её дочери Таньки. Это был неповоротливый, полнеющий увалень, которого Танька звала Юрчик, и при всех плюхалась ему на колени, что возмущало мать и она потом строго выговаривала ей, но беспечная Танька только хохотала, подкручивала матери усы (у Людмилы Викторовны были усы – она рано состарилась) и уносила на хор народной песни – Юрчик едва поспевал за ней.

Юрчик из бедной, украинско-молдавской семьи, рос без отца: тот рано умер. Мать брала любую подённую работу, чтобы поднять Юрчика и дочь, карлицу Надю. Надей мать гордилась: Надя, несмотря на свой физический недостаток, получила высшее образование, преподавала математику в школе. Юрчик заканчивал кинотехникум, но учёба давалась ему с трудом. Когда он открывал учебник, то видно было, как в голове у него медленно вращаются шестерёнки, наползая друг на друга, и начинает закипать «разум возмущённый». «Ничего не понимаю!» – Юрчик отбрасывал учебник и шёл собирать какой-нибудь мудрёный механизм. Руки у него были гениальные. Кулибин! Его даже несколько раз – секретно, на военном самолёте – возили на Байконур отлаживать сложную технику, с которой не могли справиться московские инженеры. В доме у Новожиловых с появлением Юрчика всё было отремонтировано и усовершенствовано. Тут Людмила Викторовна смирялась с «деревенским» происхождением зятя, но в остальном... Он постоянно шокировал её. То выйдет к столу в одних плавках, как раз когда к Людмиле Викторовне пожалуют её высокородные подруги в дореволюционных буклях и с камеями на блузках, и все дружно падают в обморок:

– Ах, ах, какой скандал!

То придвинет к себе салатницу и один слопает весь салат. Потом опомнится, утрётся краем скатерти, и с удивлением оглядит домочадцев:

– А что? Ещё кто-то хочет салату? Так я мигом нарублю!

Юрчик отлично готовил, и в самом деле за минуту «нарубал» нового салата. Но Людмила Викторовна уже была в прединфарктном состоянии и нервно пила воду, наливая из дорогого хрустального графина, а вслед за ней и её высокородные подруги.

– Татьяна, где ты его взяла? Он же не комильфо. Фи! – выговаривала она дочери, вытаскивая её на кухню, но Танька снова хохотала, кружилась в новой полосатой юбке, подкручивала матери усы и убегала на хор, весело командуя:

– Юрчик, за мной!

Несмотря на золотые руки и талант изобретателя, Юрчик нигде толком не работал – везде его почему-то сокращали. Сидел дома, варил вкуснейший украинский борщ со шкварками, накручивал огромную кастрюлю голубцов и делал тазик салата. Наконец, неунывающая Танька устроила его электриком в садовое товарищество, где получал он копейки, но зато у него было много свободного времени. Спал до обеда. Варил борщ. А потом научился и вино делать из черешни, которое сам и употреблял в больших количествах. Правда, семейству тоже щедро отцеживал из огромной стеклянной ёмкости. Людмила Викторовна хранила это густое, чёрное, как дурная кровь, вино в изящной круглой бутылке с вдавленными боками, оплетенной серебряным узорочьем, и пробка – из серебра. Пила понемногу, разбавляя водой. Так делали и древние римские патриции. Простонародье же и тогда хлестало всё неразбавленным, как и наш Юрчик. Приняв на грудь черешневой наливки, пел в хоре, изобретал какие-нибудь электрограбли, самоходные лопаты и другие диковины для сада и огорода. Он был доволен жизнью! А Людмила Викторовна всё вздыхала:

– Татьяна, куда ты глядела? Он ведь недотёпа, деревенщина! И пить начал. Бедная моя девочка... Да ещё это сало... Как можно есть сало?

А мы с Юрчиком не понимали, как можно сало не есть? Хорошо просоленное, нежное, прослоённое тонким, розоватым мрамором мяса. Во рту тает! И мы с Юр-

чиком создали подпольную «Партию Салоедов». Улучив момент, пластали чёрный хлеб крупными кусками – Людмила Викторовна всё резала тонюсенькими ломтиками: и колбасу, и сыр, и хлеб. Юрчик ворчал: «Сквозь такой сыр воздух видать!» Нет, мы пластали хлеб крупными кусками, укладывали сверху такие же большие куски сала, сдобренного чесноком – сало Юрчик солил сам! – и с удовольствием поедали. Придурки, конечно, но так мы выражали протест «буржуйам». Это была наша «пощёчина общественному вкусу» и солидарность друг с другом.

* * *

Да, была, была у Людмилы Викторовны сословная спесь! Вот и я оказалась не ко двору, но Олег только усмехался на косые взгляды матери, нёс к столу яблочный пирог, и всё семейство, вместе с высокородными подругами матери, делало вид, что не замечает моей неловкости, мелкими глоточками пило чай из позолоченных тонких чашек, обсуждая какую-нибудь книгу, например, Драйзера – собрание сочинений этого американца Людмила Викторовна недавно достала, выстояв большую очередь. Беседа проходила чинно: никто никого не перебивал, тактично ожидая своей очереди в разговоре – как подобает в приличном обществе. Молчал только Юрчик, пыхтя и уминая пирог, да я, хотя о Драйзере уже знала. Наконец, чаепитие заканчивалось. Людмила Викторовна и её подруги садились играть в покер, а Олег увлекал меня в свою комнату, и я с облегчением переводила дух. Есть хотелось зверски. Олег догадывался, приносил кусок пирога с кухни:

– Вот, у Юрчика отобрал, а то бы он всё уговорил, как Собакевич осетра! На кухне засел, карты ему по фене, будильник передельывает – кажется, в телевизор. Мать снова с ума сойдёт!

* * *

Спустя время, когда я уже вышла замуж за Олега, то и этикету научилась, и подружилась с Людмилой Викторовной и её подругами – у каждой была своя драматичная судьба, достойная романа. Они, вместе с Людмилой Викторовной, стали занимать мою сторону в спорах с её учёным сыном. К Юрчику свекровь моя тоже притерпелась и даже полюбила, терпеливо, но и со страхом выслушивая его долгие, занудные рассуждения о двигателях и аэродинамических свойствах пылесоса. Глаза слипались, хотелось спать, но она мужественно слушала, подкладывая Юрчику в тарелку гренки, котлеты, толстые сардельки – мы их называли «кабанчики»: из настоящей свинины, не то что нынешние. Обильный ужин в мгновение ока исчезал в бездонной утробе Юрчика. Неповоротливый в жизни, в еде он был чемпионом по скоростному истреблению пищи. Пока он поедал сардельки, прятала пылесос – от греха подальше!

Меня же Людмила Викторовна водила по магазинам, наряжала, учила делать баклажанную икру, называя баклажаны «синенькие», как на родине её матери Софьи Николаевны, в Одессе. Рассказывала о своей семье.

Отец, Виктор Кириллович Филиппов, офицер царской армии, русский дворянин, родом из Вильно, а мать – из Одессы, из еврейской семьи. Отца то и дело перебрасывали с одного места на другое, как военного, и они исколесили почти всю Россию. Жили одно время в Приморье, откуда отец ушёл на русско-японскую войну. Жили на Украине, в Чернигове. Виктор Кириллович, участвуя в Первой мировой войне, попал в австрийский плен. Вернулся из плена с незажившими

ранами, от них и умер. Ему было всего тридцать восемь лет. После смерти мужа Софья Николаевна с маленькой дочерью Лялей из Чернигова переехала к сёстрам в Петроград. Шёл 1919 год! По Украине катилась Гражданская война, гнала людей по стране. Поток беженцев не кончался. Вот и Софья Николаевна бежала от войны. Советские поэты романтизировали это время:

«Сегодня не будет поверки. / Горнист не играет поход. / Курсанты танцуют венгерку, / Идёт девятнадцатый год!»; «Армия идёт на юг, на юг, / К морю Чёрному, на Каспий, в Приазовье, / Заливая ширь степей вокруг / Плавленным свинцом и красной кровью. / И на проводах дрожит звезда, / Запевает сталь полосовая. / Громяхают бронепоезда / Вдоль твоих перронов, Лозовая!», – так писал Владимир Луговской, задыхаясь от восторга.

А какая тут романтика, какой восторг для Софьи Николаевны? Ни дома, ни мужа, маленькая дочь на руках, нужда и война дышат в спину. Гораздо жёстче и правдивей о девятнадцатом годе сказала Марина Цветаева: *«Был 1919 год – самый чумной, самый чёрный, самый смертный из всех тех годов...»*

Дорога Жизни

Людмила Викторовна оказалась вовсе не такой напыщенной матроной, какой виделась вначале, какой держала себя. Ведь это она выживала в блокадном Ленинграде, она, падая от голода, опухшая, добывала еду для маленького сына и матери, когда обоим на мучном клейстере были съедены. Она продолжала работать бухгалтером на «Ленфильме», где ей давали хлебные карточки, и когда, отстояв очередь за пайкой хлеба, возвращалась домой, то всякий раз с замиранием сердца подходила к дому: цел? или в него попала бомба? На тротуарах, в снегу лежали обессилевшие люди, которых могли сожрать голодные и озверевшие прохожие. На детских санках везли мёртвых, завёрнутых в простыни. Она и сама на санках отвезла умерших одна за другой своих тётушек. Все теперь лежат на Пескарёвском кладбище. От Невы, на таких же санках, тащили вёдра и кастрюли с водой. Человек с безумными глазами, известный артист, которого Людмила Викторовна знала, прятал за пазухой собачонку. Собачонка дрожала и взвизгивала, чуя свой скорый конец. Артист церемонно поклонился Людмиле Викторовне, приподняв суконную шапку и смущённо засовывая собачонку поглубже под пальто. Смертная тоска была в слезящихся глазах собачки. Людмиле Викторовне почему-то было жаль не обезумевшего от голода артиста, а эту беспомощную животину, и она выменяла её у артиста на хлебную пайку. Собачка недолго пожила у своей спасительницы в холодной коммунальной квартире на Сенной площади – тихо умерла, спрятавшись под кровать.

Зиму переживали тяжело: сожгли в буржуйке всю мебель, но книги сжечь не смогли. Это она тащила закутанного в платки сына и полуживую мать на салазках через лёд Ладожского озера, под обстрелами немцев. Вот как вспоминал об этом в своих мемуарах «Дневник военных лет, написанный в глубоком тылу» Г. Н. Новожилов (он рвался на фронт, но его оставили в тылу – кому-то надо было работать и здесь, почти все кинооператоры «Хроники» ушли на войну и некоторые погибли):

«Зимой 1942 года моя жена почти ползком, на салазках отвезла мать и сына к месту посадки на машины, отправляющиеся по «Дороге Жизни», по льду

Ладожского озера, к единственной железной дороге, не захваченной гитлеровцами, и кое-как добралась до Иванова, где жили мои родители. Там хоть была картошка...»

В Иваново не верили рассказам блокадников – толстые приехали. А это они распухли от водянки. Потом вода сошла. Остались кожа да кости. От водянки Людмила Викторовна ослепла. Потом зрение к ней вернулось, но ходила она с тех пор в очках. В ивановском доме была не только картошка, водились и яйца, и кое-что ещё, но свекровь, бывшая волжская купчиха Елизавета Певцова, плотно сидела на сундуке с провизией, чтобы ленинградские родственники не объели её семью. Нормально питаться блокадники начали только в Алма-Ате, где поджидал их Геннадий Николаевич.

«Еле живые. Полураздетые. О днях блокады Людмила не рассказывала, не могла, – пишет Г. Н. Новожилов. – Однажды вдруг вспомнила: разыскивая, что бы ещё продать или обменять, нашла на дне корзины пачку махорки, сто граммов. Она была курицей, табак был мечтой, но сыну и матери нужен был не табак, а хлеб... На Сенном базаре сменяла табак на отруби, радовалась – будут лепёшки. Дома разглядела: вместо отрубей дали ей опилки. Эх, люди, люди...»

На всю жизнь осталась у неё блокадная привычка – хлебные крошки сметать в ладошку и есть. И это было единственным отступлением от её хороших манер. Правда, было ещё одно отступление – Ирина Владимировна. Она не вписывалась в круг чопорных подруг Людмилы Викторовны, была проста и весела, и мы все её обожали. Я хочу рассказать о ней. Конечно, гораздо интереснее читать о знаменитостях, о великих, но есть и не знаменитые люди с великой душой и судьбой яркой, драматичной, которые мне интересны. Порою – интереснее даже громких имён. И кто, если не я, расскажет о них? Они тоже часть моей жизни и моего времени.

Сияние

Ирина Владимировна Буданова – давняя подруга моей свекрови. У Людмилы Викторовны было несколько подруг, все бывшие ленинградки. Как и она, некоторые из них тоже пережили блокаду, и все – эвакуацию. Приехали сюда на время, войну переждать, да остались навсегда. Великолепная природа, тепло, много фруктов, и народ хороший, приветливый. Понравилось им здесь, но по Ленинграду всё же скучали. Ирина Владимировна, предчувствуя свой уход – в 95 лет, собрала последние силы и поехала в Ленинград – проститься со своим городом. Вот как любила, хоть в блокаде и не была, а родственники её были, и почти все погибли. Я тоже полюбила Ленинград – по их рассказам – и потом часто ездила туда. Ещё и в 70-е годы XX века встречались руины военных лет – не всё было восстановлено, особенно в пригородах. На Сенной площади, где в блокаду жила Людмила Викторовна с сыном и матерью, оставались коммуналки, тесно заселённые и скандальные: в Ленинград после войны хлынула неотёсанная деревня, вытесняя былую интеллигенцию. Но дворы-колодцы, мрачные, как в романах Достоевского, гулко отзывались голосами прошлого – XIX век был рядом: из окна выглядывало бледное личико девушки, чьё белое платье было пришпилено булавкой к серой юбке тётушки. Слезами по окнам струился бесконечный петербургский дождь, с моря дул солёный ветер, гнал тёмную воду по каменным каналам, и мосты выгибали спины от этого ветра. И вдруг! Вдруг серые, мрачные

здания Невского проспекта вспыхивали золотом великолепной лепнины, а купола сияли в хмуром небе благородной голубоватой зеленью.

По субботам подруги Людмилы Викторовны приходили к ней играть в покер и вспоминать Ленинград. Приходила и Буданова. В семье Новожиловых её особенно любили, и звали запросто – Иришей. И мы так её звали, хотя была она уже в немалых годах. За покером обычно пили чай с домашним печеньем или яблочным пирогом, рассказывали разные житейские истории. Рассказывала и наша Ириша. Высокая, тёмнобровая, никогда не унывающая, она до преклонных лет путешествовала и не боялась трудностей дороги, а также неприветливого быта. У неё не было сверкающих лаком сервантов, китайских ваз и прочего добра, показывающего достаток советской элиты, как в домах её подруг, как у Новожиловых. Всё в её квартире было по-спартански просто, без красивых излишеств, и комнаты казались пустыми и гулкими, но пол всегда чисто помыт и окна блистали чистотой. Ириша была романтиком, любила Паустовского, и, прочитав его рассказ «Корзина с словыми шишками», с нарочным послала Паустовскому в Тарусу корзину алма-атинского апорта. Она была знакома с писателем, когда он жил в Алма-Ате, где переживали войну многие известные деятели культуры. Истории Ириши, рассказанные в разные вечера, запомнились мне, и я их записала.

История семьи

Отец Ириши, Владимир Петрович Буданов, был профессором географии и до революции преподавал в университете в Петербурге, а после красного Октября работал в музее «Соляного городка». Первую свою жену, мать Ириши, потерял рано. Она умерла от чахотки. Обычная болезнь сырого Петербурга. Осталось у него четверо детей: две дочери и два сына. Потом у них появилась мачеха: крепкая, решительная женщина, которая никогда не плакала и стойко сносила любые испытания, а выпало ей всего немало. Родились у них в семье ещё две девочки, Таня и Леля. Младшую, Лелю, отец особенно любил. В 18 лет окончила она 1-й курс института и сильно простыла: провалилась под лёд на Неве. С нею сокурсник был, стал тащить её из воды, а она об одном переживает: подол юбки задрался, и парень теперь увидит её рейтузы. Он её вытягивает, а она вырывается, снова под воду ныряет. Кое-как справился с ней. Уже в горячке всё спрашивала:

– Ты ничего не видел? Ты ничего не видел?

– Видел!

– О, боже! Что? Что?

– Дуру!

Заболела Леля, стала кашлять, а вслед за ней и Таня. Мать повела дочерей на рентген. До этого сдали они и кровь. Доктор осмотрел обеих, и Таню тут же отправил одеваться, а Леле сказал:

– А вы, барышня, мне не очень нравитесь.

Леля и сама, видно, чувствовала, что творится с ней что-то неладное. Расплакалась, а доктор утешает её:

– Да не расстраивайтесь вы так! Летом поедете в Крым, отдохнёте, и всё пройдёт!

Доктор девушек отпустил, а мать попросил остаться. И, едва они вышли, сказал резко и безжалостно:

– Спасения нет и не может быть! Туберкулёз. Все лёгкие уже поражены, будто зерном усыпаны, и палочка Коха уже пошла в кровь. Это конец!

С каменным лицом вышла мать от доктора. Ни слезинки в глазах, но Леля всё поняла. Вернулась домой, легла и больше не вставала. Вскоре отказало у неё зрение, затем почки. Отец поднял на ноги все медицинские силы, какие мог: человеком он был известным, и ему шли навстречу. Но даже и самый знаменитый из светил, который, говорят, брался даже за безнадежных больных, тут только развёл руками:

– Ничего не могу! Поздно...

И консилиум подтвердил то же. Врачи приняли решение: за три дня до смерти положить Лелю в клинику. Матери сказали:

– Ради Владимира Петровича это делаем, не ради больной: агония будет тяжёлой, он не вынесет...

Мать и тут не проронила ни слезы и ничем не выдала своего горя. Боже мой! И сама Ириша такой была, и моя свекровь Людмила Викторовна: я ни разу не видела их в слезах. Наедине с собой они, может, и плакали, а на людях – никогда! Это особая порода совершенно удивительных женщин, будто выточенных из благородных петербургских гранитов. Их не могли сломить никакие житейские бури. «Мы ни единого удара не отводили от себя!», – писала Ахматова.

Когда Леля ушла, мать и тогда выдержала, почернела только лицом, а вот отец потерял себя. Сделался дурачком: ничего не видел, не понимал, сидел на кухне и глядел в одну точку, а через две недели умер. Было ему 68 лет. Ириша установила его возраст, когда, будучи как-то в Ленинграде, разыскала его могилу на знаменитых «Литераторских мостках». Могила сильно заросла травой, но камень сохранился, с датами – и она удивилась, что умер отец в 68 лет, таким молодым – по её понятиям, так как самой Ирише тогда было уже за восемьдесят.

История о тридцать седьмом годе

Ириша в то время уже в Алма-Ате жила. Приезжает к ней раз женщина, холёная такая, в перстнях, с запиской от сводной сестры Ириши, Тани: «Прошу оказать этой женщине всяческую поддержку в её делах и дать ей приют на несколько дней. Я тебя ни о чём никогда не просила, и, думаю, ты мне не откажешь в этой просьбе».

Ну, что, Ириша вместе с мужем, которого все звали Лёшечкой, стараются перед гостьей. Кровать была у них одна – ей отдали, а сами – на полу. Что есть в запасе – всё на стол. Гостья нос морщит от картошки да квашеной капусты, но ест – другого-то ничего нет. Вопросов лишних не задают – стесняются. Вот как-то за чаем женщина сама рассказала им свою историю.

Жила она прежде с дочерью в Ростове-на-Дону. Дочь её, Риночка, красавица и очень изнеженная. Когда сделали эти ужасные смешанные школы, то она не пустила Риночку к этим хулиганам. Учителя сами стали ходить к ней на дом, а поскольку Риночка не все предметы любила, то учила только то, что ей нравилось. Когда исполнилось Риночке 16 лет, вышла она замуж, за большого человека вышла – за генерала, из ближайшего окружения Ягоды. Не то за помощника Сосновского, не то за самого Сосновского, который был много старше её. Ириша не запомнила точно, кто это был. Дочь, естественно, переехала тут же в Москву. Там у неё была роскошная квартира, горничная, экономка, няня для дочки и личный

шофёр, который отвозил мужа на службу рано утром и привозил поздно ночью, когда Риночка уже спала, а днём обслуживал Риночку...

– А что же, стала она дальше учиться? – спросила свою гостью Ириша, которая в то время была одержима учёбой: заканчивала вечернюю школу, вместе с пасынком Петей.

Гостья закатила глаза:

– Ну что вы, какая учёба! Риночке ведь было так некогда.

– Да, да, – покраснела Ириша. – Всё же Москва: театры, музеи...

– Ну, конечно, конечно, она бывала там, первые недели, потом ей надоело.

Да вы знаете, некогда. Весь день у неё расписан по минутам: надо к портнихе, к парикмахеру, к маникюрше, к массажистке. До музеев ли?

Я вот сейчас вспоминаю этот диалог Ириши и её гостьи, и думаю: как изменились времена. Теперь такая «барская» жизнь не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Многие мечтают о ней: о богатом замужестве, о праздном бытии. А тогда – тогда и нам, и самой Ирише такой образ жизни, все эти массажистки и маникюрши вместо музеев и учёбы казались чем-то постыдным.

Потом генерала, мужа Риночки, арестовали и посадили, а самой Риночке было предписано выехать из Москвы. Ей предложили на выбор пять городов, в том числе Алма-Ату. Пока Риночка собиралась, мать её примчалась сюда, чтобы подыскать ей сносное жильё. Быстро добыла маклера, но всё, что он ей предлагал, она браковала. Наконец, маклер нашёл удобную квартиру, рядом с парком, но возле дома отсутствовал асфальт – и вариант был гневно отвергнут:

– Вы что? Там непременно пыль, а ведь у Риночки ребёнок!

И вот она чудом каким-то сама отыскала квартиру в прекрасном доме. Там жила одна домработница, хозяйева которой давно уже уехали отдыхать на Чёрное море да и сгинули бесследно. Должно быть, их тоже посадили. Домработница сказала, что хозяйева обычно одну комнату всегда сдавали, и она тоже рискнёт это сделать. А уж если они вернуться, то сами тогда решат, как быть. Деньги у неё кончились и не на что их квартиру содержать. Комната и вся квартира были шикарные. Примчалась гостья радостная, а Ириша со своей семьёй из ларька картошку носит. Картошку редко завозили, так они ловили момент, и даже сын Ириши, четырёхлетний Вадик, ходил в очередь с маленьким рюкзачком. Гостья будто не видит этого, не собирается помогать – о своём хлопочет:

– Ой, вы так мне понравились, такие вы хорошие люди, вот послезавтра моя Риночка приезжает, так вы, Алексей Прокофьевич, уж помогите мне, встретьте на вокзале, а то у Риночки много вещей, и ещё ведь девочка!

Лёшечка, который, пыхтя, тащил очередную авоську с картошкой, тут же согласился.

А надо сказать, Ириша в то время работала стенографисткой у наркома финансов Василия Ивановича Бессонова. У наркома с ней были доверительные отношения, потому она и рассказала ему о своей гостье, когда Бессонов узнал откуда-то о ней. Ещё бы не узнал! Тридцать седьмой год. Все под надзором КГБ, особенно работники наркоматов, а тут родственница генерала, приближённого к Ягоде. Выслушав Иришу, нарком хлопнул ладонью по столу и решительно отрезал:

– Вот что, милая, гони-ка ты её в три шеи. И никаких встреч на вокзале! Или не знаешь, какое сейчас время? Поди, и прописать просила?

– Просила, – слабо пропищала Ириша.

– Не вздумай! – предупредил Бессонов. – Не отвяжетесь потом. Гони вон!

Но как выгонишь? Как Лёшечке отказаться от помощи гостя? Загрустил он, а Ириша придумала:

– Вот что, завтра ты поедешь в командировку!

– Но меня же не посылают?

– А ты поедешь!

Приходит гостя вечером после прогулки по экзотической Алма-Ате, а Ириша укладывает Лёшечкин чемодан.

– Вот, – говорит, – извините, но Алексей Прокофьевич никак не может встретить вашу дочь, его срочно посылают в командировку.

– Ах, какая беда! – расстроилась гостя. – Как же теперь быть? У Риночки столько вещей: платья, шубы, дорогие палантины, и у неё же девочка. Что же делать?

А Ириша говорит, так спокойно:

– Что уж вы так убиваетесь, честное слово? Вон, давече, видели, наверно, как у нас вся семья картошку из ларька таскала, даже маленький ребёнок? И ничего, никто не умер. Вот и ваша Риночка...

– Так ведь она особый случай! – вздыхает гостя. – Она так не может...

– Ничего, нужда заставит – сможет! Тоже ведь человек, как и мы. Наймёте грузовик да и перевезёте вещи. Делов-то!

– Ой, а как же Риночка? Она не сможет в кузове, у неё же девочка!

– Риночка в кабине поместится, с шофёром. Пятнадцать минут неприятных переживаний, зато всё перевезёте враз и сами доедете.

Но гостя разохалась, и охала весь вечер. Лёшечка, бесконечно извиняясь и смущаясь, утром отправился в «командировку» – к своему брату, на другой конец города. А гостя, как устроила свою дочь, через несколько дней пришла опять:

– Очень хорошие вы люди, спасибо вам! Не хотелось бы терять с вами связь. У нас же тут никого нет, мы к вам ходить будем.

А Ириша возьми да брякни:

– Я бы рада, да ведь мой сын вчера заболел коклюшем, а у Риночки же ребёнок, как бы не заразить...

Тут гостя замахала руками:

– Ой, ой, ради Бога, тогда не надо!

Так и отвязались они от этой семейки. Ириша оправдывалась тем, что вовсе не из страха поступила она так, а душа не принимала таких людей, но из деликатности и она, и Лёшечка терпели гостью, да и сестру Таню не хотелось обижать, раз уж она записку прислала. С Таней были у Ириши сложные отношения, и она всегда радовалась, когда Таня о ней вспоминала. Вот и на этот раз обрадовалась, получив записку от сестры, а так-то гостя сразу Ирише не понравилась, и Лёшечка пожимал плечами, глядя на неё, а говорить – ничего не говорил. Ждал, что жена скажет. Ириша в семье главная была и всегда могла придумать выход из любой затруднительной ситуации.

История наркома Бессонова

Нарком финансов Василий Иванович Бессонов казался Ирише весьма пожилым человеком, а между тем, он совсем недавно женился, было у него двое ребятшек: девочка и грудной мальчик. Этого малыша он особенно любил и был безумно счаст-

лив, когда тот родился. Сам Василий Иванович красотой не блистал: невысокого роста, но крепенький, лицо розовое, потому что был он белобрыс: и остатки волос на голове, и брови, и ресницы ну прямо-таки белоснежные. Простой был человек, без чиновничьей спеси. Как с работы едет на своём мерседесе – чёрном, длиннющем – так человек десять-пятнадцать сотрудников в него набьётся, и он всех подвезёт.

Вспоминает Ириша, как решила она работать в Наркомфине. Запросто так зашла в кабинет к Бессонову и никто её не остановил. Говорит смело:

– Вот на работу к вам хочу устроиться!

– А что ты умеешь делать? – спрашивает, а у самого глаза озорные, мальчишечьи.

– Пока ничего, но я учусь на стенографистку.

– Так и взял. Так я при нём и была до последнего дня, пока его не забрали, – рассказывает Ириша. – А забрали его, тут и меня вызвали в эту самую, известную контору. Давай допрашивать:

– В каких отношениях вы были с Бессоновым?

– Ни в каких, – говорю, – работали вместе.

– А домой он вас к себе приглашал?

– Приглашал, что ж тут такого? Он иногда прямо сразу мне диктовал срочные документы, а я стенографировала, потом там же расшифровывала и перепечатывала. Обычное дело.

– А потом? – допытывался следователь, серый такой, одутловатый, и в глаза не глядит, всё куда-то в стену.

– Что потом? – играю я дурочку. – Потом отпускаял домой.

– А в другое время вы у него в доме бывали?

– Бывала и в другое время. Мы с его свояченицей, Ольгой, дружили, и я приходила к ней в гости. А если Василий Иванович с Антониной Петровной пили чай, то и нас к столу звали.

– Ну и какие разговоры вели вы за столом? Что говорил Бессонов?

– Ну что можно говорить, когда пьёшь чай с вареньем? Возьмите того, возьмите этого, ещё чаю выпейте – вот и всё! Знаете, если вы подозреваете меня в чём-то таком, то зря: никаких разговоров Василий Иванович со мной не вёл и не мог вести: я другого круга человек и в этом смысле его не интересовала.

– Но ведь у вас был доступ к его бумагам, он диктовал вам! – не отставал следователь.

– Так что же, обычные деловые бумаги, что я в них понимаю? Что диктовали мне, то я и писала, а уж что там в них – не моего ума дело, считаю.

А ещё спросил, глумливо ухмыляясь: не возил ли меня Бессонов в Аксайское ущелье, в санаторий. Я возмутилась:

– Никогда! У него жена есть, и я замужем!

Так «серый следователь» ничего от меня и не добился, но всё равно посадили нашего Бессонова. Тут и началась свистопляска: каждую неделю у нас новый нарком. Стоняют нас в зал заседаний, и следующий нарком начинает громить предыдущего, обвинять его, что китайский шпион, работает на джунгарскую или японскую, чёрт их разберёт, разведку. Двадцать два наркома за год сменилось. А мне всё Василия Ивановича жалко: до чего ж хороший человек, меня, можно сказать, с улицы взял. И когда я разошлась с первым моим мужем Яшкой Левитиным и вышла замуж за Лёшечку Кошкина, то Бессонов помог нам с жильём. Лёшечка ведь тоже в Нарком-

фине работал, там и познакомились. Да и вообще, каждого, с кем работал, Василий Иванович непременно расспросит, не нужна ли какая помощь. Помнил, у кого какая семья, какие нужды. Тут звонит мне его жена, Антонина Петровна:

– Извините, Ириша, но не могли бы вы помочь мне? Понимаете, попали мы в скверную ситуацию: нас выселили, все вещи лежат во дворе, и дети там, а мне надо бы пойти поискать какое-то жильё, но детей и вещи не с кем оставить. Никто из соседей не соглашается, так вот я и подумала, может, вы бы согласились... Это ненадолго, если можете...

А голос такой виноватый, осипший. Я, конечно, тут же согласилась. Свояченица их, Ольга, в то время не в Алма-Ате была. Прибежала я и весь день сидела у них во дворе. К вечеру только Антонина Петровна нашла квартиру. Ещё ведь и не очень-то пускали: двое малолетних детей, а потом – боялись, раз муж репрессирован. На окраине где-то нашла.

На другой день меня вызвали опять к «серому следователю». Он уж сердит, не то что в прошлый раз – сонный был. Теперь глаза сверкают:

– Как вы смели помогать врагам народа! – кричит, а я делаю вид, что не боюсь его, хотя внутри у меня дрожит всё, как овечий хвост.

– Во-первых, – говорю, – я сидела во дворе с маленькими детьми, а какие они враги народа? А во-вторых, с Антониной Петровной не общалась, да и не до того было.

– Зачем вы согласились ей помогать? – кричит опять следователь, прямо, из себя выходит.

– Так что же, – говорю, – оттолкнуть их, когда они в такой беде? Они мне в своё время помогли по-человечески, когда мне трудно было. Что же, теперь я должна ответить им подлостью?

Снова ничего не добился он от меня, и очень недовольный мною, с внушением и предупреждением не поддерживать в дальнейшем отношений с семьёй врага народа, отпустил, но я тайком всё же встречалась с Антониной Петровной: то картошки ей принесу, то ещё что-нибудь. Она сильно бедствовала.

Лёшечку моего трижды туда вызывали. Предлагали ему сотрудничать. Но он отказался:

– Да какой из меня помощник вам? Я ничего не могу...

– Ну, где что подозрительное услышите или заметите, придите к нам и сообщите, больше от вас ничего не требуется.

А Лёшечка своё:

– Да ведь я такой рассеянный, кроме бухгалтерских бумаг да счетов ведь и не вижу ничего.

– А вы отвлекайтесь иногда, обстановка-то, сами знаете, какая сейчас. Нужны всеобщие усилия.

– Оно, конечно, так, но знаете, признаюсь вам откровенно: если я начну отвлекаться, то непременно что-нибудь напутаю в расчётах, такой уж у меня склад. Мне надо полностью погружаться в цифры, только тогда голова моя работает чётко и хорошо.

Когда его вызвали в третий раз, то он сказал мне:

– Это уж, наверно, в последний. Скорее всего, не выпустят меня, скажут: раз я не хочу подсобить им, значит, поддерживаю врагов. Так что, давай, Ириша, наверно, простимся.

Но и на этот раз его отпустили, чудом каким-то он уцелел, хоть снова отказался от пособничества. С тех пор оставили его в покое.

Сидим как-то мы с ним, я и говорю:

– Знаешь, Лёшечка, что мне в голову пришло? А ведь враги-то народа не те, которых забирают сейчас везде, а те, которые забирают. Они и есть настоящие вредители, или пособники каких-то врагов, которых мы не знаем.

Мой тишайший Лёшечка аж испариной покрывлся, да как стукнет кулаком по столу, совсем как Бессонов:

– Ты вот что, подруга, ты оставь-ка свои гениальные мысли при себе и не болтай, что в голову взбрёт!

– Но ведь я тебе только сказала, своему мужу, – смутилась я.

– А и мне этого знать не надо! Не хочу я знать, что ты там думаешь от нечего делать! Поняла?

– Так что же теперь, и собственного мужа бояться надо?

– Получается, надо... – уже с жалостью посмотрел на меня Лёшечка: мол, что же ты, дура, сама, что ли, не понимаешь, время какое? С тех пор я и молчала.

Любовные истории

Любовь – одна из главных тем нашей Ириши, почему мы, молодёжь, и липли к ней, и готовы были слушать её хоть до утра.

– Я начала влюбляться в пять лет: была у меня романтическая увлечённость цесаревичем Алексеем – сыном последнего русского императора. Портрет юного цесаревича в моей комнате висел, и я ему молилась, будто иконке. Я всё мечтала: как вырасту большая, обязательно выйду за него замуж. Высокого полёта была девушка! Потом уж узнала, что расстреляли его большевики. Он до жениха-то и вырасти не успел. Но я не верила, всё думала: может, спасся он каким-то чудесным образом и живёт где-нибудь за границей. И до сих пор так думаю – живой он...

Но теперь не о нем речь: другая у меня забота. Сноха моя, Ритка, погуливает. Я всё знаю, но молчу. Пусть сами разбираются. Внучку мне дают, и на том спасибо. Да ведь и как мне Ритку осуждать? Сын-то мой, Вадька, чудаковат. Подрядился работать метеорологом на необитаемый остров посреди Балхаша. Кругом один камыш, звери, птицы да комары. Людей по полгода не видит. Ритка там и месяца не выдержала, сбежала. А Вадьке моему только там хорошо. Живёт, как Робинзон, всё лето голый ходит, бородища до пупа. Сколько раз Ритка его в город выманивала. Поживёт день-два, и затоскует, и опять рюкзак за спину да на Балхаш. Шторм на море, не шторм – лодку надует и гребёт к своему острову. Вот Ритка и стала хвостом вертеть. Да я ведь и сама в молодости была, ух, какая! Чё уж греха таить? Бегала от моего первого мужа Яшки к Лёшечке Кошкину. Яшка выследил. Решил с Лёшечкой расправиться. Он против Лёшечки-то великан, и в гневе не помнит себя, убить может. Но Лёшечка, хоть вроде бы и безответный на вид, а тут не испугался. «Люблю её, – говорит, – и всё тут! Не уступлю, и буду за любовь мою бороться!» Ну, Яшка, конечно, всё равно побил его, да куда деваться? Со мной-то он ничего не мог сделать – он это знал. И отступил. Плакал. Напился. До сих пор я виноватая перед ним: разве вину такую можно загладить? Ничем не загладишь. Любовь – это как землетрясение. Оно происходит неожиданно и помимо нашей воли, всё разрушая. С этим просто надо смириться и всё.

Вот, два мужа у меня было. Обоих я без памяти любила. Думаете, Яшку не любила? Да я из-за Яшки всё бросила и примчалась сюда из Ленинграда, хоть мне говорили, что здесь по улицам верблюды ходят, дикари в чумах живут. Никого не послушала! Яшку работать в Алма-Ату послали, а я – следом. С одной балеткой. Мачеха кричала на меня и обзывала последней дурой, и сёстры осуждали, потому что у Яшки тоже ничего не было: гол, как сокол, да огромный, волосатый, у меня и Вадька такой – весь в отца. А за мной в Ленинграде ухаживал состоятельный инженер, лощёный такой, щеголеватый, предлагал руку и сердце. Короче, положительный, взрослый мужчина. Всякий раз, как приходил к нам, рассуждал, что надо бы мебель сменить, другие обои поклеить, абажур бы он сделал в японском стиле – с драконами, ну и всё такое прочее. Очень мачехе моей нравился, да и сёстрам тоже. Потом-то одна из сестёр и вышла за него. А Яшка – безалаберный, как и я, к тому же, сумасшедший: мгновенно загорался, если что не по нему. Рассказывал о своих школьных проделках: то учителя химии взорвёт, то в класс притащит крысу и засунет в портфель физику. Его несколько раз исключали из школы. Хулиган, одним словом. Какой из него жених? А я влюбилась. Думала – на веки вечные, а тут – Лёшечка. Смущается, цветочки дарит, ручку целует. Совсем невиданное дело!

Да-а, было у меня два мужа, а я всё по цесаревичу Алексею вздыхала. Портрет-то его я спрятала. Он до сих пор со мной. Иной раз гляну и вспомню мой детский восторг от его ангельского личика, от глаз его чистых. Может, он и старик теперь-то, а для меня – всегда мальчик, сиянием окружённый. Я ведь когда на портрет его гляжу – сияние вижу...

УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЁЖ

«Съели чиновника в чине полковника...»

После окончания университета Олега Новожилова направили на работу в Синегорье, в один из целинных совхозов, в деревенскую школу – как он и хотел. И я поехала за ним, бросив работу на телевидении, литературные успехи, городскую жизнь. Я бросила даже писать стихи. Всё бросила! Мною двигал молодой авантюризм, когда хочется перемен, самостоятельной жизни, побега из-под родительской опеки, ведь мне было девятнадцать с половиной лет. А ещё – любовь. Любовь была важнее всего на свете! Родители замуж меня не пускали, и резонно: они жениха в глаза не видели. Увидят только через полгода, когда мы уже пройдём суровое испытание ЗАГСом, а уж когда Олег дров нарубит для бани, когда пустится в пляс с моими тётками да песни заголосит, тут уж безоговорочно станет любимым зятем. А пока – пока скандал: «Одну жену с ребёнком бросил, и тебя бросит!», – вразумляли меня родители (Олег никогда не бросал дочь, помогал ей всю жизнь, а потом, когда Олега не стало, помогала я, и она звала меня «мамой Надей». Её родная мать, наплодив ещё шестерых детей и рассовав их по приютам, спилась). Я никого не слушала. Тогда отец отобрал у меня паспорт, порвал билет на самолёт и запер в комнате. Я собралась уже было выставить окно и бежать, но тут явилась моя тётушка Настя и приструнила брата:

– Да чё ж это такое, Миша? А ну как у них любовь? А ты жизнь девке хочешь испортить! Нехай едет! – выпустила меня из заточения, подарила наволочку громадных размеров – мы с Олегом могли в ней жить! – гипсовую пастушку и немного денег. И я поехала неведомо куда!

В Синегорье была красота. Деревни совхоза окружены лесами, живописными озёрами, зелёными холмами – весной они в маках, и синими скалами невысоких гор, над которыми много веков трудились ветра, выгачивая из камня причудливые фигуры воинов, коней и красавиц. Синегорье – государственный заповедник, но только не для высокопоставленных особ: они любили сюда приезжать на рыбалку и охоту. Однако в жизни есть место не только подвигу, но и анекдоту. В народе ходила байка об одной такой охоте (подозреваю, что это всё же бродячий сюжет, и подобную историю рассказывали о Брежневe и немецком партийном лидере Хонникере, а то и о Хрущёве). У нас охотничью байку врили так: какой-то большой начальник пожелал охотиться на зайцев – причём немедленно! – а был начальник уже весьма навеселе. И тогда сообразительный егерь что придумал? Поймал кота, нарядил его в заячью шкуру с ушами и посадил под берёзой, прикормив колбасой. Кот сидит, жрёт. Начальник прицелился, но кот опередил выстрел: взлетел на берёзу и спрятался там. Начальник даже протрезвел от удивления:

– Впервые вижу, чтобы зайцы по деревьям прыгали!

– Так у нас же тут аномальная зона! – вывернулся егерь. – Геологи уран нашли!

Начальник тут же покинул опасное место и больше на охоту не приезжал, а урановые рудники в самом деле были, но далеко от нашего посёлка.

Каждое лето привозили сюда и стройотряд из иностранных студентов. Возле их палаток на высоких шестах пестрели флаги разных стран. Больше всего сельчан привлекали кубинцы, которые тогда были нам чуть ли не роднёй, и народ с воодушевлением пел: «Куба – любовь моя!» Наши деревенские бабки приносили им банки с молоком, солёные огурцы и, тайком от студенческих кураторов, самогонку, которую чернявые ребята хвалили, и уверяли, что она даже лучше знаменитого кубинского рома – достаёт до пяток! А вот немцев из ГДР самогонка сбила с ног уже после первого стакана, и одна из бабок добродушно посмеивалась:

– Хиляки вы, немчура! Потому мы вас и победили в сорок пятом!

– Да это же наши немцы, бабушка, камрады! – убеждали её советские студенты.

А она своё гнёт:

– Наши дома сидят! А эти всё одно не наши, всё одно оне русских не любят...

Аполитичную бабку быстренько выпроводили из лагеря, чтобы, не дай Бог, кураторы не услышали да не сдали бы бабку в известный Комитет из трёх букв.

* * *

Стали мы с Олегом жить-поживать. Жили прямо в школе, в пионерской комнате, под знамёнами – и со стены глядел на нас Ленин, подозрительно прищурившись. Олег повесил на портрет свою кепку, чтобы вождь не подсматривал. Другого жилья не было, дом для учителей только строился. Преподаватель геометрии Наталья ютилась в неработающем санузле, так как воду в посёлок ещё не провели (но водонапорная башня уже стояла). Химичка с юным мужем разместилась в сторожке.

и муж её устроился как раз сторожем в школу. А неженатого ботаника поселили в хозблоке. Когда кончались занятия и школа пустела, мы жарили картошку в каком-нибудь классе, на общей электроплитке, а чай варили в стеклянной банке кипятильником. Иногда она взрывалась, но убитых, слава Богу, не было.

В общественной бане совхоза кроме мужских и женских дней был ещё особый день – для учителей и совхозного начальства, где директор школы Рыбкин выпрашивал у распаренного директора совхоза мебель для учительской, а зоотехник говорил об общественном быке, которого сильно эксплуатировали на деревенских подворьях, и зоотехник взывал к совести голых односельчан.

Посёлок наш был многонациональным: кроме русских и казахов, корейцы – очень много корейцев, потому что директором Синегорской птицефабрики был кореец Пётр Петрович Цой и вся его многочисленная родня переселилась в наш совхоз. Были ещё немцы, мордва, белорусы. Почти все приехали сюда поднимать целину, да и остались. Учитель истории, Борзик, говорил на белорусский манер, удивляясь сам себе: «Вот стою у новых ботах и у шёлковом манто!» Так и уроки вёл: русский пересыпал белорусскими словечками. Он предсказал будущее (естественно, как историк!) моему сыну, увидев его в пелёнках:

– Ой, доца, будет твой хлопчик либо генералом, либо рэцэдэвистом!

И когда ребёнок подрос и стал из кубиков строить «мавзолеи вождёв» (для всего Политбюро выстроил!), начинать их моими украшениями, а потом грабить – я обречённо поняла: сбывается худшая часть предсказания.

Мы видели корейские похороны – бабушка лежала на полу, накрытая ярко-жёлтой тканью. Мы ели кукси из собаки, не зная об этом. Ещё недавно собачка бегала по двору, потом её посадили в сарае в яму, бросали ей туда куски хлеба – откармливали чистой пищей. Кукси было необыкновенно вкусным, но когда я узнала, из чего была состряпана эта мясная лапша, мне сделалось дурно: очень жалко было собачку – я даже расплакалась.

Олег же запивал кукси водкой и легче перенёс корейскую кухню, ещё и шутил:
– Главное, чтобы еда тебя не съела!

Немцы угощали домашними свиными колбасками с неизменной тушёной капустой, белорусы – колдунами, драниками и грибами во всех видах, а украинцы варили невероятной гущины борщ, и, конечно, подавали ломтями нарезанное, нежное сало, которое ели все народы нашего посёлка – под средство межнационального общения, водочку.

Школа была новая, и учителя сплошь молодые, что вышло боком нашему директору Михаилу Ивановичу, который поначалу радовался, что сумел собрать такой боевой коллектив, заманить молодых специалистов в деревню. Все быстро переженились – комсомольские свадьбы играли чуть ли не каждую неделю. Буквально через год училки – одна за другой – стали уходить в декрет. Даже те, кто давно был замужем и уже имел детей, тоже забеременели. Прямо-таки какая-то демографическая эпидемия!

Но до очереди в роддом мы весело пожили – ещё не выветрился студенческий дух. Над дверью нашей с Олегом пионерской комнаты висел лозунг: «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» А над узкой железной койкой – другая надпись: «Пёс смердящий и пиявица ненасытная!» Продуктовые запасы кончались в первую же неделю после зарплаты, и мы с Олегом писали на «Стене плача» в «собашнике» – в закутке, где стояли знамёна: «Ели картошку с селёдкой», «Ели только картошку»,

«Ничего не ели...» Но это не убавляло весёлости. Учителя собирались в нашей каморке, играли в «бутылочку», грызли сухари и пели студенческие песни:

«Колумб Америку открыл, / Страну для нас совсем чужую. / Дурак, зачем он не открыл / На нашей улице пивную. / Коперник целый век трудился, / Чтоб доказать земли вращенье. / Дурак, зачем он не напился, / Тогда бы не было сомненья!»

Или ещё «Африканскую застольную»:

«Съели чиновника, в чине полковника, / Сели в тени под бананом».

И, конечно, гимн всех студентов – «Исакия святого»:

«Там, где Крюков канал и Фонтанка-река, / Словно брат и сестра обнимаются, / Там студенты живут, они горькую пьют / И ещё кое-чем занимаются. / А Исакий святой с колокольни большой / На студентов глядит, ухмыляется. / Он и сам бы не прочь провести с ними ночь, / Да на старости лет не решается...»

Пели: «Зиганишин буги, Зиганишин рок, / Зиганишин съел один сапог...» Был в то время герой Зиганшин, который с тремя товарищами дрейфовал на барже в открытом океане и от голода съел и сапоги, и кожаный ремень. Пели Булата Окуджаву, Галича, Городецкого, других бардов. Иногда на спевку приходил завуч школы Ларик Цой, приносил острейшие корейские кушанья, после которых мы сидели с разинутыми ртами – перец пробирал до пятки! Тут же появилась новая надпись над пионерской комнатой: «Бойтесь данайцев, дары приносящих!» Заглядывал и белорус Борзик, улизнув от своей суровой жены Брониславы. Он на общий стол выкладывал драники, и мы историка нежно любили. И снова пели – «Школу Соломона Бляра» или душещипательную песенку о коварствах любви в царской России (Борзик, как историк, даже определил, при каком царе):

«Под солнцем цилиндром сверкая, / Надев свой парадный сюртук, / По Летнему саду гуляя, / С Марусей я встретился вдруг...» Дальше содержание такое: любил её четыре года, на пятый – изменил. В сырую погоду простудил коренной зуб, помчался к врачу. Врач грубо взял за горло и выдрал четыре здоровых зуба. *«В тазу лежат четыре зуба, / А я как безумный рыдал, / А женщина-врач хохотала. / Я голос Маруси узнал!»* Так она ему отомстила за измену. И кончается песенка так – на радость другого врача, логопеда: *«Под шоншем шилиндром шверкая, / Хошу я теперь беиш шубов, / И как отомитить, я не шнаю, / Ша эту, ша проклятую любовь...»*

Иногда, посреди веселья, я выскальзывала из нашей комнаты, бродила по гулким коридорам школы и плакала: вот мы веселимся, радуемся жизни, а мой художник, мой Азаров там, под землёй, один, брошенный всеми. И такая жалость подкатывала к сердцу, такая печаль – нестерпимая. Я не могла смириться с его исчезновением и уверяла себя: он жив, он всё же где-то есть, где-то далеко-далеко – не дойти, но он есть! Мне его очень не хватало. Боль эта никогда не затихала, её не заглушали другие влюблённости и романы, и через годы я всё плакала о Валерии:

«Мой Сокровенный, ты ушёл так рано... / Не заживает в сердце моём рана, / И никогда она не заживёт, / Хоть и прошло полвека. Каждый год / И каждый миг я помню наши встречи. / Июньский зной. Чабрец. Зелёный вечер. / Стоим, обнявшись, у чужих ворот. / Над нами Он – за облаком таится, / Спугнуть своим дыханием боится, / Но всё равно однажды разведёт. / И проклинала я Его, греша, / Но стали камнем все слова и стоны, / И некуда идти! И вновь душа / Вела к Нему по тропам потаённым...»

Свадьба

Жили мы с Олегом, поживали, добра не наживали, а вот песни пели, не помышляя о ЗАГСе. Но тут партком школы подослал к нам Ларика Цоя, и снова с корейскими дарами: мол, а не пожениться ли вам официально? А то как-то не по-советски получается. Ларик обещал нам устроить такую свадьбу, какой свет не видывал. Цой, как многие корейцы, был хвастлив и в этом не знал меры. Как то пообещал всей мужской половине школы достать ондатровые шапки – целый вагон! В результате принёс одну, и ту, судя по всему, сшили из съеденной собаки. С тех пор, как только Ларик начинал что-то обещать, мы делали серьёзные лица: «Ну, конечно, будет – целый вагон!» Вот и теперь лукавый кореец пообещал нам очередной «вагон». Олег после развода с Галиной ЗАГСа побаивался, но, подкупленный маринованными баклажанами, пампушками и капустой кимчи, сдался.

Женский коллектив школы сделал мне фату из тюлевой занавески, белое платье у меня было. Ларик заранее договорился с регистратором сельсовета Ермалаичем о бракосочетании. Была суббота, топили бани. Нас с Олегом усадили в сломанную легковушку, которая стояла во дворе школы и служила учебным пособием для мальчиков. Звали её «Люсенька». Сели с нами в «Люсеньку» и свидетели: Ларик с геометричкой Натальей. Общими усилиями учителей «Люсеньку» вытолкали за ворота школы – она стояла на холме, и столкнули вниз. «Люсенька» бодро понеслась с горки и уткнулась в крыльцо сельсовета, где и встала на прикол – до следующей свадьбы. Всякий раз её притаскивали на тракторе назад. На сельсовете висел большой амбарный замок.

– Ё-ка-лэ-мэ-нэ! – выругался Ларик. Велел нам ждать, а сам помчался искать Ермалаича. Мы сели на крыльцо и стали щёлкать семечки: у Олега всегда при себе были семечки, которые он любил, за что получал внушения от своей породистой маман: «Это же некультурно!» Сидели долго. Наконец, видим: Ларик чуть ли не на себе тащит пьяного после бани Ермалаича, у того на шее даже мокрое полотенце болтается.

Ермалаич матерился:

– Чтобы ты язвело! Опеть у вас собачья свадьба, бездельники! Ни выходных, ни проходных для трудящегося класса!

Ларик подбадривал утомлённого «трудом» регистратора:

– Да ты погляди, Ермалаич, какая невеста красивая!

– Красивая, как кобыла сивая! – парировал Ермалаич.

Он несколько раз прицеливался к замку, пока не отомкнул его. Потребовав рубль вперёд, расписал нас.

На прощанье сказал:

– Будете разводиться – три рубля возьму!

Возвращались мы из сельсовета уже пешком, помахав свидетельством о браке нашей «Люсеньке». На пороге школы нас торжественно встречал директор Михаил Иванович, подал каравай с солью и сказал свою знаменитую фразу, которую говорил обычно в торжественных случаях:

– Жила бы только Родина!

Мы согласились, отломали по хорошему куску хлеба, потому что всё время хотели есть. Нас отправили в нашу пионерскую комнату: мол, сидите там, пока мы вас не позовём. Сидим мы, целуемся, едим хлеб с солью. Слышим: внизу, в актовом

зале, где должна быть наша свадьба, музыка играет, но не свадебная, а бравурный марш. Проигрыш такого марша обычно делают при вручении почётных грамот.

Говорю Олегу:

– Похоже, нашу свадьбу справляют без нас. Пойдём!

Оказывается, в это время в школу прибыл чиновник из района поздравлять с Днём учителя – было как раз 4 октября. Свадебные столы спешно свернули, застелили кумачом. Чиновник говорил поздравительную речь, начав, как было тогда заведено, с международного положения и побед советских людей в строительстве коммунизма. Но хорошо обкатанную его речь то и дело портил совхозный зоотехник, который не пропускал ни одного собрания в деревне, борясь за здоровье общественного быка, а поскольку учителя-старожила держали коров и привлекали быка для любви с их бурёнками, то зоотехник пришёл и в школу.

– Товарищи! – кричал он. – Давайте говорить за быка! Он вам не конвеер!

Зоотехника сводили со сцены, но он прорывался снова:

– Я требую установить очередь на случку! Если все будут быка использовать бесконтрольно, что останется совхозным коровам? Бык же племенной, лучший в районе!

И вот, когда и наш директор Михаил Иванович, и районный чиновник уже выдохлись в единоборстве с озабоченным зоотехником, входим в зал мы: я – в фате из занавески, и Олег – с белым цветком в петлице.

– А это ещё что такое? – завопил чиновник.

– А это что-то вроде комсомольской свадьбы, – стал оправдываться Михаил Иванович.

Чиновник повёл себя неожиданно:

– Так что же тогда мы тут дурака валяем? Давайте праздновать свадьбу!

Мигом кумач сменили белыми скатертями, на столы выставили всё, чем были богаты. Вот уж мы наелись! Директор птицефабрики, который приходился родным братом нашему Ларику Цюю, выделил нам кур и даже цесарок. Так что свадьба получилась царская! Посажённым отцом был Михаил Иванович, а посажённой матерью – ветеран педагогики, учительница начальных классов Клавдия Назаровна, могучая, с голосом, который легко мог перекрыть несколько иерихонских труб.

В совхозе её уважали. Она возглавляла Женсовет, который особенно активно работал после всенародных праздников, разбирая семейные конфликты: кого-то муж в пьяном угаре по голове утюгом тюкнул, кого-то – пытался запихать в горящую печку, приревновав к соседу, а одна баба привела на Женсовет двух мужиков, чтоб её рассудили, с кем жить, потому что обоих любила и с обоими жила. Клавдия Назаровна поступила так же мудро, как библейский судья, который рассматривал дело о ребёнке и двух матерях – настоящей и мнимой.

– Значит, так, дорогая! Сейчас проверим, кому ты больше нужна. Возьмём да сдадим тебя за разврат, куда следует.

Один мужик сразу дал задний ход, а другой готов был идти за ней и в тюрьму. Он и остался с бабой, плачущей от счастья. В тот же день Женсовет разбирал и другую историю, но уже с мужиком, который ходил налево. И снова Клавдия Назаровна мудро рассудила.

Спрашивает обманутую жену:

– С блядок он возвращается в семью?

– Да!

– Зарплату приносит?

– Приносит!

– Вот что я тебе скажу: видела, как собака лает и бегаёт за всеми машинами?

– Ну и что?

– А то! Если бегаёт, ещё не значит, что за руль сядет!

Блудливому мужику тот же пример привела – с собакой и машинами, только по-другому басню повернула:

– Смотри, под колёса не попади, бобик!

И как в воду глядела: одна из его зазноб пырнула мужика овечьими ножницами – и как отрезало! Перестал гулять – рану зализывал.

Когда мы с Олегом шли по деревне и к нам пристраивалась геометричка Наталья, я шутила:

– Ты б, Наташка, не ходила с нами, а то подумают, что ты совратила моего мужа и я тебя веду на Женсовет!

География по карте вин

Когда я вышла замуж, то решила попытаться устроиться на работу в районную газету. Пришла туда в сопровождении Олега. Главный редактор, мужик тяжёлый, похожий на гоголевского Собакевича, согласился посмотреть мои «писюльки», как он выразился. Дала ему свои стихи, не сомневаясь в успехе, но он безоговорочно их забраковал. Я была оскорблена. Ещё бы! Меня печатают в самой столице! Меня напутствовал Роберт Рождественский! А какой-то прыщ из занюханной районной газетёнки критикует. Гордыня была невероятная – и неожиданная для меня. Я-то думала, что равнодушна к славе, а выходит, вон как: самолюбие зыграло! Значит, всё же зазвездилась. Если отец не дохвалявал, то Олег явно перехвалил: он всё время гордился, что я поэтесса, и говорил об этом где надо и не надо. Папку завёл, куда складывал мои публикации. Спустя годы у него пройдёт это обожествление и гораздо больше будут привлекать мои борщи и пироги. Увы! Романтика брака вырождается в песенку: *«Я назову тебя зоренькой, только пораньше вставай. Я назову тебя ласточкой, только везде поспевай!»* Но в то время брак ещё был в стадии восторга и счастливого заблуждения.

Мы с Олегом решили отомстить дураку-редактору. При себе было у меня стихотворение Бунина «Одиночество», которое мне очень нравилось, и я его переписала от руки, чтобы заучить, и носила в кармане пальто. Стихотворение кончается известными строчками: *«Что ж! Камин затоплю, буду пить... Хорошо бы собаку купить»*. Сопя и нахмуря брови, «Собакевич» прочитал и эти стихи и вынес сокрушительный вердикт:

– Это тем более не годится! Ну что это такое: «Буду пить?» К чему вы призываете советских читателей? И почему пишете от мужского имени? Заберите вашу чепуху! Напишите что-нибудь хорошее о тружениках села, о замечательных наших учителях, вы ведь в школе работаете? А насчёт выпивки... – «Собакевич» посмотрел на меня с отеческой грустью: – Не пей, дочка...

Всю дорогу из редакции мы с мужем потешались над «Собакевичем»: как он на Бунине прокололся! Как принял меня за алкоголичку! Гордыня моя была удовлетворена, и я возвысила себя, как мне тогда казалось, над малограмотным газетным червем. До сих пор стыдно тогдашней моей глупости.

В газету устроиться не удалось, да и ездить в район надо было за 70 км, но и в школе оставаться тоже нельзя. Дело в том, что в школу преподавать немецкий язык я пошла за неимением другой работы.

Сначала сопротивлялась:

– Ты что! – кричала я Олегу. – У меня же тройка по немецкому была! Как я буду детей учить?

– Ничего, выучишь вместе с пятиклашками! А не хочешь – иди на птицефабрику, яйца считать, или на конеферму – дояркой.

На птицефабрику не хотелось, да и на конеферму тоже, хотя там было веселее. Кобыл доили под музыку Чайковского и Штрауса – по мнению зоотехника, так они давали больше молока, и кумыс потом получался вкуснее. Чайковского и Штрауса я любила, а вот к кобылам что-то не тянуло. Пришлось преподавать немецкий. Хотя и небольшие, но всё же кое-какие знания у меня были. Во-первых, в школе, где я училась, была толковая «немка» Мария Генриховна. Во-вторых, отец мой дружил со своим деревенским знакомцем Богданом. Богдана, вместе с другими немцами Поволжья, во время войны сослали в наши края, в трудармию. Жил он в Бородулихе, рядом с папиной сестрой Нюрой, а в город привозил на лечение свою матушку фрау Ирму, и они всегда останавливались у нас. Богдан худо-бедно по-русски изъяснялся, а вот фрау Ирма не говорила совсем – только по-немецки, и когда я оставалась с ней дома одна, то мне поневоле приходилось вспоминать школьные уроки, чтобы хоть как-то с ней общаться. Она в ответ тоже что-то лопотала, и я, с пятого на десятое, но понимала её, и мы были довольны друг другом. По крайней мере, если за столом она просила у меня «brot», то я ей подавала именно хлеб, а не соль или горчицу.

* * *

Стала я преподавать бедным детям немецкий язык. Уроки вела в форме игры, учебные пособия рисовала сама, и дело пошло! Хотя бывали и курьёзы. Иной раз боялась вызывать к доске ребят, особенно старших классов: это были здоровенные, деревенские парни, с крепким румянцем – я рядом с ними выглядела Дюймовочкой перед свадьбой с Кротом. Наиболее отважные писали мне записки: «Не пойдёте ли вы со мной в кино на вечерний сеанс?» Я отвечала: «Пойду, если разрешит Олег Геннадиевич. Спросите у него!» К мужу моему, а по совместительству учителю литературы, обращаться парни уже не решались, но тогда переключались на подарки: то принесут замороженный круг молока, то кулёк тыквенных семечек, то поделку из древесного корня, а однажды – на 8 Марта – подарили восемь флаконов одеколona «Шипр». Запейся, как говорится! И в других молодых учительниц мальчишки влюблялись, писали им записки или делали трогательные подарки. Это нас бодрило, и учителя с молодым задором предавались работе. Детям с нами, наверно, было не скучно. Мы организовали театр, ансамбль «Ёлочка», водили детей в походы, летом ездили с ними в Ленинград, после уроков иногда устраивали в актовом зале танцы – под радиолу. «Танцуй, пока молодой!»

Капут

Однажды в школу с проверкой прибыл человек из районо – настоящий немец, и пришёл ко мне на урок. Мы как раз с детьми проходили тему «Дрезденская галерея» и говорили исключительно по-немецки. Я задавала вопросы, дети бойко

отвечали. На доске были развешаны репродукции картин Дрезденской галереи. Дети заодно приобщались и к живописи. Но это мне не помогло. Глянула на «немца» из районо – и поняла: мне капут! Глаза у него были белыми от ужаса. После урока он спросил:

– Уважаемая, на каком языке вы говорили с детьми?

Терять мне было нечего, и я нагло ответила:

– На немецком!

– Видимо, это какой-то неизвестный никому диалект?

– Берлинский! – хамила я дальше.

– Ну вот что, уважаемая! Надеюсь, у вас есть другая профессия?

– Да, есть! – сказала я гордо. – Я учусь на журналиста!

– Вот и учитесь! А в школе я вас чтоб больше не видел!

С рыданиями кинулась я к директору. Михаил Иванович по-отечески утешал меня, вызвал Олега:

– Сделай что-нибудь, ревет без остановки! Куда ж мне её увольнять? Где я среди года учителя возьму?

Учителей, в самом деле, не хватало – кое-кто ведь ушёл в декрет, и оставшиеся совмещали предметы. Олег, например, кроме русского языка и литературы, вёл ещё химию, из которой помнил только имя Менделеева и две формулы: воды и спирта. Историк Борзик вёл физику. С физикой его роднила хорошая физическая форма, потому он прихватывал ещё и уроки физкультуры – физрук тоже ушла в декрет. Ботаник внедрял в юные умы и свой предмет, и геометрию (он когда-то хотел стать чертёжником), а также математику. На математике дети запросто определяли скорость самолётов ИЛ-18 и ЯК-40, не имея никаких дополнительных данных. Сроду не догадаетесь, как! От ЯК-40 отнимали ИЛ-18, и получалось, что оба самолёта летят со скоростью 22 км в час. Как ботаника вообще понимали дети – загадка, потому что от природы он был шепеляв. Самое выдающееся его словечко «сикалки», т. е. «щиколки».

– Я люблю женщин с тонкими сикалками! – говорил ботаник, но в деревне таких не водилось, и ботаник никак не мог выбрать себе невесту, хотя всё время находился под боевым прицелом совхозных Артемид. Уж как они румянились, как наряжались, соскоблив с босоножек куриный помёт! Почти все работали на птицефабрике.

Ботаник только морщился, глядя на их ноги:

– Сикалки не те!

– Сам ты сикалка! – фыркали оскорблённые невесты.

Я – уже беременная – вела и немецкий язык, и младшие классы: алфавит, арифметику и чистописание я знала всё-таки лучше, чем Deutsch, а ещё меня заставили вести уроки литературы. Нет, нет, Олег в декрет не ушёл, просто один не справлялся со всеми уроками литературы, так как вторая «литераторша» как раз собралась рожать. Помню, изучали Лермонтова, «Героя нашего времени», и я устроила театрализованное представление прямо на уроке: «Суд над Печориным». Был судья – в парике из ваты и в мантии из моей юбки, защитник и обвинитель – оба в очках, сам Печорин – с картонным пистолетом за поясом. Очень бурный получился урок! На шум прибежал директор: «Что тут у вас происходит?» Но Печорину уже был вынесен приговор, и класс готов был успокоиться.

Даже трудовик был задействован в учебном процессе: он преподавал географию, а поскольку до этого объездил почти весь Советский Союз, то географию знал отлично. Каждый урок о республиках СССР начинал словами:

– Помнится, в Грузии зашли мы в погребок и выпили пять бутылок «Цинандали»!

Если это была Молдавия, то в погребеке пили уже коньяк «Белый аист», и тоже в больших количествах. В Латвии – «Рижский бальзам». Это латыши пьют его по капле, как лекарство, наши люди – литрами. На шхунах Тихого океана, служа матросом, трудовик пил незабываемое вино «Солнцедар», и т. д. – смотрите карту СССР и карту вин.

Бедные дети! Как они потом поступали в институты? А ведь поступали, и даже успешно учились. Так что среднее образование ничуть не мешает высшему. Кстати, двое моих учеников выдержали конкурс на факультет иностранных языков. Донер-веттер! Правда, они были природными немцами и знали, что такое донер-веттер. Я-то ладно, хоть мало-мальски, но немецкий язык детям давала, а вот в одном из соседних совхозов преподаватель иностранного языка вместо английского учил школьников... чеченскому, потому что был ссыльным чеченцем, и никакого языка, кроме плохого русского и чеченского, не знал.

Потом училки начали рожать и почти сразу же возвращаться в школу, потому что положение там было уже критическое. Родила и я, да так подгадала, что сын у меня запросился на свободу 31 декабря – новогодний подарок. Роддом уже всю гулял. Пьяная акушерка – на автопилоте – приняла у меня роды, но не могла определить пол ребёнка, крутила его в руках, гадая: «Мальчик или девочка? Девочка или мальчик?», пока помогавшая ей практикантка медучилица не облегчила её сомнения: «Да ведь это мальчик! Это же сразу видно – вон, колокольчики!»

Через два месяца я с грудным младенцем отправилась на зимнюю сессию в Алма-Ату. Весёлые студенты нянчились с Денисом, а вместо подготовки к экзаменам сочиняли пародии, например, на нашего сокурсника Адама Мерца, который работал в немецкой газете «Фройндшафт». Называлась пародия «Неизвестные страницы “Евгения Онегина”». *«Дидро, Вольтер – какая мерзость! / Зато читал Адама Мерца. / С ним познакомиться был рад / Через газету «Фройндшафт»!»* Вывесили транспарант: «Кормящей матери – зелёную улицу!» и вталкивали меня первой в пыточную. Видя, что я плаваю, вносили орущего Дениса. Преподаватель быстро ставил мне зачёт, лишь бы прекратить кошачий концерт. Так сын и однокашники помогли мне успешно сдать все экзамены.

* * *

Продержались мы с Олегом в совхозе три года, а потом нас потянуло в город: оказалось, Олег совсем не любит деревню, и мне было грустно, что он не понимает прелесть «деревенской» прозы Василия Белова, Валентина Распутина, Шукшина. Олег был «асфальтным мальчиком». О таких Ленин говорил: «Страшно далеки они от народа!», хотя и сам был далёк. Да и мне, хоть я любила деревню, хотелось заняться наконец журналистикой и литературой. Мои родители звали в Семипалатинск – скучали по внуку, и мы уехали из Синегорья в Семипалатинск, а потом – в 1976 году – в Алма-Ату, где я работала сначала в только что открытом детско-юношеском издательстве «Жалын», а затем 35 лет в журнале «Простор».

Небывалая слава

Из семипалатинского бытия вспомню только два эпизода: оба и грустные, и весёлые. Первый – о небывалой славе. Вернувшись из Синегорья, я стала снова работать на TV, теперь уже в литературно-драматической редакции. Режиссёром у меня был молодой студент ГИТИСа, Виктор Казанцев. И мы с ним задумали передачу «Биографии» – аналог нынешней (на ЦТ) «Жди меня». Работали с архивами, с очевидцами, разыскивая потерявших друг друга людей, и многих нашли. Успех был невероятный! Поскольку по пятницам я торчала в «ящике», то меня стали узнавать на улице. Однажды, в сильный гололёд, я рухнула в центре города и не могла подняться. Рядом лежали павшие прежде граждане. Тут кто-то узнал меня: «Глядите, глядите, это она – из передачи «Биографии», как живая!» Стали просить автографы. Началась лежачая творческая встреча. Но как всегда бывает при стихийном скоплении народа, нашёлся лидер, готовый повести толпу за собой – бывший белорусский партизан. Он приказал всем ползти за ним к железной ограде Хлебокомбината. Мы поползли. У ограды кое-как приняли вертикальное положение, ухватившись за прутья изгороди. Мелкими шажками, вслед за партизаном, мы двинулись вдоль ограды к автобусной остановке и, изварзанные в снегу, с красными носами, ввалились в салон. От радости обнимались, а партизана целовали в румяные щёки и возносили до небес. Он расправил усы, он глядел орлом! Он снова стал героем! Меня тут же все забыли. Так проходит земная слава...

У партизана обнаружился в кармане шкалик с вином, он пошёл по кругу, а там и песня грянула: «По Дону гуляет казак молодой!» Автобус шагом шёл по городу, на тротуарах лежали люди. В Семипалатинске и в моём печальном сердце был «ледниковый период».

На пике своей телевизионной славы я ушла работать в отделение СП, потому что на TV случился у меня конфликт с одной руководящей дамой, которая не потерпела конкуренции. Когда-то она блистала в эфире, а как появилась программа «Биографии», рейтинги её передач упали, и она выжила меня. Да мне уж и скучно там стало: хотелось куда-то двигаться, ближе к литературе...

Баба Доня

Второй эпизод – о бабе Доне. Мы с мужем и маленьким сыном поселились на квартире у Евдокии Калашниковой, которую все звали баба Доня. Бревенчатая её изба была разделена на две половины: на одной – мы, на другой – наша хозяйка. Изба была такая старая, что печи зимой приходилось топить круглые сутки, а значит, часто колоть дрова, что мы с Олегом делали по очереди, и я научилась одним ударом топора расщеплять звонкие поленья.

Жила баба Доня одиноко. Вдовствовала. До войны был у неё муж Панкрат – Паня. Оба они работали на «железке»: он машинистом, а Доня на перроне с флажком – поезда провожала. Железная дорога пролегла сразу за домом, и мы по ночам, трясясь на своих койках, «ехали» в Москву и из Москвы, под оглушительные гудки поездов. Жили себе Доня с Паней, поживали, но тут война. Паня ушёл на фронт, хоть была у него бронь, но он добился фронта. Доня осталась ждать. Выходила с флажком, вглядываясь в морозную даль: не покажется ли состав с теплушками, не привезёт ли Паню домой? Теплушки шли сначала с ранеными, потом – с побе-

дившими солдатами. Пани среди них не было. Похоронка была – с сорок второго года в комодке лежала, но Доня ей не верила, продолжала ждать.

После Германии, повоював ещё в Японии, вернулся друг Пани, Степан, который с мальчишек бегал за Доней, и тут стал обхаживать, да она выгнала его:

– Я Паню жду! Уйди!

Но Степан не отставал. Ходил. Раз пришёл опять – под вечер. Доня шуку чистила – на Иртыше выловила. Степан выпивший был, осмелел, целоваться полез. Доня хлестанула его шукой по лицу.

Степан отскочил:

– Ты чё, совсем сдурела? Чё ты мне пощучину-то дала?

– Не лезь! – замахнулась снова растрёпанной рыбиной.

– Донька, ну вот скажи ты мне: чем я хуже Пани? Герой! У меня орденов полна грудь! Да и всегда я красивше Паньки был. За чё ты его любишь?

– Ни за чё! За то, что есть...

– Да где ж он есть? Вон уж скоко прошло, нет его! Нет!

– Это для тебя нет, а для меня – есть! Вернётся Паня...

И он вернулся. Тихо вошёл во двор, сел под берёзу, что вместе с Доней сажали они в день свадьбы. Берёза выросла, вытянулась, красавицей стала, как юная девушка, только-только вышедшая из голенастых подростков. Доня, будто почувяла – проснулась, кинулась на крыльцо, а Паня – вот он, живой!

– Господи, родимый! Да где ж ты пропадал?

И рассказал он ей, что в сорок втором попал к немцам в плен, бежал, добрался до своих – измождённый, скелет-скелетом, а его уж вычеркнули из списка живых и включать назад не собирались: решили, что лучше объявить предателем и отправить на Колыму. Но теперь ад позади, теперь наступил рай!

Однако недолго длилось их счастье. Стал он болеть после всех испытаний. Так и умер на руках у Дони. Не верила Доня. На столе в его комнате осталось раскрытое Евангелие от Луки. Читал перед смертью Панкрат, так-то в церковь не ходил, хоть крещён был в младенчестве, а тут нашёл книгу в чулане – от матери осталась. Последние слова, им прочитанные и подчёркнутые твёрдым ногтем, Доня никогда не закрывала, верила в них: *«Бог же не есть (Бог) мёртвых, но живых, ибо у Него все живы»*. И Паня был живой, она часто голос его слышала. Проснётся среди ночи – зовёт Паня. Выйдет к нему на крыльцо – босая, в длинной белой рубахе, а Паня под берёзой сидит, белым облаком колыхается, радуется Доне. Спустится она в сад, сторожко озираясь – не видит ли мать? – да бегом, как девушкой на свидания бегала, да скорей к берёзе, скорей прятаться в траве. До небес трава, а берёзовая крона ещё выше. Паня прозрачен, невесом, но прохладное его дыхание на горячей щеке Дони, на груди распахнутой. Рядом он, живой...

Вернётся в дом – рубаха сырая, в росе, и ноги босые холодеют. Плохо уж кровь греет её старые ноги. Тишина в комнатах. Мёртвый лунный свет на половицах. Только ходики тикают на стене, но не хотят поворачивать время вспять: в довоенное, счастливое лето...

* * *

Как-то летним вечером шила я себе сарафан, примеряла его, а окно без шторы, и при включённом свете меня было хорошо видно на улице, но я об этом почему-то не подумала: крутилась у тёмного окна, которое заменяло мне зеркало. В со-

седний дом, к разбитной бабёнке Людке, которую баба Доня звала «Людоедкой», ходили кавалеры, и один мужик увидел, как я, полуобнажённая, кручусь перед зеркалом-окном, он и решил, наверно, что зазываю, что у нас тут с Людоедкой «улица красных фонарей». Стал ко мне ломиться – Олега не было дома: он уехал в командировку от Обкома партии, где работал тогда. Как сам говорил: «Продался за квартиру!» (Квартиру нам вскоре дали.) Мужик вот-вот высадит окно. Я давай стучать в дверь к бабе Доне – наши половинки соединялись дверью – просить о помощи, но старуха тут же закрыла дверь на крючок и прокричала мне: «Сама боронись!» Что же делать? Я металась по дому, раскалила утюг, кипяток сварила. Думаю: если мужик в окно влезет, кипятком ошпарю или утюгом тюкну. Мужик, гад, до утра не мог уgomониться: ходил под окном, через забор перелез к нам во двор, дверь мою дёргал. Утром баба Доня провела расследование и сообщила:

– Клиент агроменный был, обувь сорок шестого размера. Конь! Такой, ежли покроет, зараз задавит. Хорошо, я заперлась на все крючки!

– Молодец, баба Доня! А то бы точно девственность потеряла.

К вечеру вернулся из командировки Олег, я ему рассказала о ночном ужасе, кроме, конечно, того, что сама навлекла этот ужас. И вот, как стемнело, Олег вооружился топором, спрятался в кустах пыльной акации, что росла вдоль забора, и стал ждать похотливого мужика. Но так в этих кустах чихал от пыли, так дымил сигаретой, от нетерпения то и дело выскакивая из кустов с топором, что не только мужика отпугнул, но и всех Людоедкиных ухажёров. Они перестали к ней ходить, и она жаловалась:

– Бляха-муха! Мор на мужиков какой-то напал – не ходят ко мне! Хотелка моя скоро мхом зарастёт...

И стала заигрывать с Олегом, передком крутить, но я пригрозила ей топором, и Людоедка отступилась – видела, как я одним ударом полено расщепляю.

* * *

Какое весёлое время было, какое прекрасное! Все времена прекрасны, это мы их портим. И какая была я глупая. Всё что-то горевала, томилась. Помню, шла по зимней улице Семипалатинска. Все деревья – в серебре, в тонком кружеве. Сухой сибирский морозец. Сладкий воздух. Тишина! А я реву, а я реву, а я оплакиваю свою несчастную долю: «Вот, мне уже двадцать пять лет, а я тут – ни в Москве, ни даже в Алма-Ате. Так и сгину в этой дыре, в глухой провинции, безвестная и никому не нужная. А-а-а!» – вою. Жизнь казалась конченной. Это теперь приезжаю туда за тишиной, за простодушием людей, за неторопливым течением лета, с кукушкой в дёбрях зелёного Полковничьего острова и мальками в Иртыше – за утраченным счастьем...

ЗОЛОТОЕ РУНО

Поход на Восток

Я была на многих литературных конференциях, но особенно ярко запомнилась эта – может, потому, что она у меня первая, да и впервые встретила больших писателей, которых знала только по книгам.

В середине 80-х собралась международная конференция в Баку: «Дружба народов – дружба литератур». Азербайджан! Там Есенинская «Персия», где пропел

поэт волшебные стихи любви: «*Шаганэ ты моя, Шаганэ...*», и этой прекрасной «персиянке» готов он был подарить русское поле всего лишь за один поцелуй. Там, в Азербайджане, селение Шамаха, откуда Пушкин в карете царя Дадона привез Шамаханскую царицу в свою сказку «Золотой петушок»:

«...Вдруг шатёр... / Распахнулся... и девица, / Шамаханская царица, / Вся сияя, как заря, / Тихо встретила царя. / Как пред солнцем птица ночи, / Царь умолк, ей глядя в очи, / И забыл он перед ней / Смерть обоих сыновей...»

Как вы помните, сыновья царя Дадона отправились войной на Восток, где и погибли: «*меч вонзивши друг во друга*». Всякая война – братоубийственная, потому что человек человеку – брат. Любовь может вызвать вражду, но побеждает вражду только любовь:

«Его за руку взяла / И в шатёр свой увела. / Там за стол его сажала, / Всяким яством угощала. / Уложила отдыхать / На парчовую кровать. / И потом неделю ровно, / Покорясь ей безусловно, / Околдован, восхищён, / Пировал у ней Дадон...»

«Шамаханских цариц» мы в Азербайджане встречали на каждом шагу, и они тоже влекли нас в шатры, где щедро угощали – «неделю ровно», но, слава Богу, финал сказки и наше пребывание в Баку разные: ни «золотой петушок», ни жареный не клонули нас ни в лоб, ни в какое другое место, и мы вернулись живыми из нашего литературного «восточного похода».

В Баку съехался весь цвет тогдашней литературы во главе с секретарём СП СССР, стариком Георгием Марковым, прославившимся своей сибирской прозой, лауреатом разных премий. Были Василь Быков, Расул Гамзатов, Виктор Боков, Давыд Кугультинов, Александр Кушнер, из которого я навсегда запомнила строку-формулу: «*Времена не выбирают – в них живут и умирают*», Агния Барто, и много других писателей – из Москвы и республик. От Казахстана – кроме меня, Фариза Унгарсынова и Мурат Ауэзов – сын Мухтара Омархановича Ауэзова. Внешне он очень похож на отца. Мурат увлёк нас с Фаризой на рынок восточных пряностей, где его рассказы о них были прекраснее самих пряностей. Это был исторический, сказочный экскурс в древние века и цивилизации. Друг Мурата, поэт Фарман Керим-заде – большой, смуглый, с копной густых кудрей, подёрнутых ранним инеем, водил нас по улочкам старого Баку, где его все знали, по лабиринтам дворца Шерван-шаха. Пригласил в уютное кафе «Караван-сарай», недалеко от Девичьей башни, где мы попробовали настоящий люля-кебаб с зеленью, шашлык из северяги, выдержанный в гранатовом соке, плов с оранжевым шафраном: когда готовят плов, в него непременно кладут раскалённую в огне подкову. Ели настоящий садж, из курицы и овощей, приготовленный на круглой, как диск, сковороде, которую тоже зовут садж. Сверху это блюдо посыпается зёрнами граната. В Азербайджане лучшие в мире гранаты, и они добавляются во многие блюда, как в русском Суздале всюду – хрен, даже в квасе и медуухе. Куриный садж подают на маленькой треноге с тлеющими углями. На садже-сковородке, перевернув его доньшком вверх, и лепёшки пекут. Посуда здесь с древних времён многофункциональна: садж – для жаркого и лепешёк, самовар, пришедший к нам из Ирана – для супа с крошечными пельменями-душпара и сушёной мятой, и для чая. На десерт – медовая пахлава из четырнадцати тончайших лепёшек с орехами, а ещё – экзотический щербет в узких кованных кувшинах. Всё это под томительную восточную музыку, где плачет дудук.

Фарман горевал, что многие его земляки живут по ту сторону реки Аракс, на чужбине, но мы никак не могли сосредоточиться на его печали, потому что слово «Аракс» бодрило наш казахский слух, очень хорошо рифмуясь с «араком» (водкой), но «арака» не было – только щербет.

Фарица читала свои стихи – страстные, дерзкие, и это удивило Фармана: мол, надо же, девушка, а не боится говорить о любви так откровенно и смело. Азербайджанские поэтессы в стихах носят плотную чадру. Но Фарица из рода прикаспийских амазонок, которые добровольно лишались одной груди, чтобы плотнее прижимать лук и без промаха стрелять в мужчин, которые шли к ним с войной. Фарман потом приедет в Казахстан, вместе с Муратом Ауэзовым они отправятся в путешествие по Великому Шёлковому пути. Во время армяно-азербайджанского конфликта Фарман погибнет.

...В пустых мечетях древнего Баку поёт о вечном неумолчный ветер. У ветра научились языку народы, что пришли в пределы эти. Наш смуглый друг Фарман Керим-заде ведёт тропой среди святых развалин. Он в этот миг возвышен и печален, свою судьбу читая на воде. По бастионам старых крепостей, по улочкам, оранжевым, кирпичным, идём в селенье, где приход гостей, наверно, ветра горького привычней. В огромной кепке бритый великан несёт гранат и гроздь винограда. Здесь на своём наречии Фарман горюет с ним, вдыхая свежесть сада. И высекает ветер письма на камне стен, на росписи настенной: *«Печаль короче жизни во Вселенной, но счастья долговечнее она...»*

Стихи поэтов конференции напечатали в разных азербайджанских изданиях, а меня удостоила публикации газета нефтяников «Вышка», и я говорила потом всем, что «вышку» мне уже дали за мои стихи – осталось расстрелять!

Красный агитпоезд

Стихи Агнии Барто мы все знаем с детства, и вот я её увидела, и мы с ней даже подружались: она меня опекала, перезнакомила со многими москвичами. Вспоминала, как молодой девушкой приезжала с красным агитпоездом сюда. Выступали прямо из вагона, раздвинув дощатые двери. Народу собралось тьма. Когда очередь дошла до Барто, мужчины на перроне заволновались, без конца аплодировали и долго не отпускали поэтессу, требовали говорить ещё и ещё. Ну, подумала юная Барто, успех! Никому так не хлопали! Потом организаторы встречи объяснили ей, что народ ни слова не понимает по-русски, а в восторге от неё, потому что молодая и полненькая.

Мы ездили по республике. Я попала в самую почётную группу – в Сумгаит, меня туда взял с собой сам Марков. Наверно, по той же причине, что и молодую Барто брали на агитпоезд: я тоже была молода, правда, тела не хватало, но всё равно мне аплодировали усатые азербайджанцы, а Марков на банкете посадил рядом с собой, всё время приобнимая, но я этим не воспользовалась – меня больше радовала встреча с Василем Быковым, и я рвалась к нему. Его прозу я очень любила. Повесть Быкова «Сотников», на мой взгляд, великое произведение. Муж мой Олег предан Быкову был религиозно, и не просто преподавал его своим ученикам в школе, а буквально проповедовал, и потому слушал меня потом со спазмом в горле:

– Ты видела Василя Быкова!

– Да, видела! Можешь ко мне прикоснуться – мы с ним даже обнимались!

Ох, и врунья! Василь Быков был скучноватым, тихим человеком, совершенно не расположенным к объятиям, даже и дружеским, так что мы с ним – в компании азербайджанских писателей – говорили только о литературе. Он беспокоился о белорусском языке, который умирает, поглощается русским. Беспокоился не зря: он и сам вскоре стал писать по-русски, отказавшись от переводчиков. Скрепляла наш интернациональный разговор водка «Беловежская пуца», но и она не раскрепостила Василя: он – на фоне горячих, шумных кавказцев – оставался спокойным, уравновешенным человеком, которому, мне кажется, вообще было скучно общаться с нами. Он такое продумал и такое понял, что был уже в недостижимых для нас мирах. А мы трещали о сиюминутном.

Танец живота

Потом был роскошный банкет во «Дворце Радости» – новом здании для торжеств. Во время пиршества девушки в прозрачных шальварах танцевали танец живота – прямо против стола первого секретаря ЦК компартии Азербайджана Алиева и почётных гостей. Расул Гамзатов зажёл глаз, стал ёрзать на стуле, но рядом была его жена, тоже поэтесса, большая и степенная Патимат, и она пресекла на корню души прекрасные порывы возбуждённого мужа.

О Гамзатове и его переводчике, поэте Михаиле Дудине ходила такая притча: Расул, хорошенько приняв на грудь вместе с Михаилом, соблазнял друга продолжить и выпить ещё вина «Гамза», совсем немножко. Привозили тогда в СССР из Болгарии бутылки этого вина в плетёных корзинах. Михаил ответил Расулу решительным отказом:

– Нет уж! Знаю я твоё «немножко»: вечером – «Гамза», а утром – расул!

Дудин был не только талантливый переводчик и хороший поэт, но ещё и остроумный человек. Его шуточные экспромты гуляли по стране. Одну такую стихотворную шутку я сейчас вспомнила – как раз о конференции, подобной бакинской, только уже в Тбилиси, на юбилее Шота Руставели:

*Мы приехали в Тбилиси,
Очень там перепились.
Шо-то пили, шо-то ели,
Шо-то было Руставели.*

Во «Дворце Радости» пел нам «Мальчика из Карабаха» Рашид Бейбутов, пел сладкоголосый кавказский соловей Полад Бюль-Бюль оглы, что и означает: сын соловья.

И снова – танец живота! И снова – страдания Гамзатова!

Национальная традиция

В самом начале конференции я познакомилась с писателем из Чили. К сожалению, уже не помню его имени, но самого помню – крупный мужик с индейскими чертами каменного лица и жестикующей горячего испанца. Он немного говорил по-русски. После прихода к власти диктатора Августо Пиночета из Чили вынуждены были бежать многие сторонники просоветски настроенного Альенде. Бежал и чилийский коммунист Луис Корвалан, скрывался в СССР – здесь ему сделали пластическую операцию, чтобы враг не опознал. Он стал для нас чуть ли не роднёй.

хоть мы иногда и путали его имя, звали «Корвалолом». В семье Мурата Ауэзова одно время воспитывалась маленькая чилийская девочка – её всё время носила на руках жена Мурата. Мы тогда все были на родине Абая, в Карауле, на каком-то литературном мероприятии, уже не помню каком, может быть, на фестивале Абая, который ежегодно устраивал писатель и наш земляк Ролан Сейсенбаев.

Мой чилиец жил в Москве, работал на радиостанции, которая рассказывала правду о режиме Пиночета. Спросил меня, откуда я.

– Из Казахстана!

– Где твой Казахстан?

– Космос, – говорю, – Байконур!

– О, Байконур! Знаю!

– Ядерный полигон, «Кузькина мать»!

– О, бах, бах! Кузькина мать!

С тех пор, едва завидит меня, орёт на всю гостиницу:

– Вива Кузькина мать!

Рассказал о себе такую байку. Он только-только приехал в Москву и ещё не огляделся. Рано утром выходит на пробежку, тут подгребают к нему двое небритых мужиков:

– Рубль есть?

– Есть!

– Гони, и жди нас тут, мы быстро! – берут у него деньги и скрываются за углом.

Чилиец думал – ограбление, но не успел испугаться, как мужики вернулись с бутылкой водки.

– Что это? – поинтересовался на всякий случай чилиец.

– Утренний сок! – хохотнули мужики.

У них при себе имелись гранёные стаканы, и мужики молча разлили по стаканам водку – хоть и на глазок, но с ювелирной точностью: всем поровну! Один стакан протянули чилийцу:

– Пей!

Выпили, чилиец утёрся и хотел продолжить пробежку, но мужики его тормознули:

– Погодь! А поговорить? Ты откуда, чернявый?

– Из Чили!

– Тогда за Чили, камрад! – и налили ещё, потом ещё – с новым тостом: – За мир во всём мире! – и давай целоваться.

Чилийцу понравилась эта затея с «утренним соком», и теперь он каждое утро стал выходить с рублём в кармане, и мужики ни разу его не обманули.

– Как ты думаешь, почему? – спросил он у меня.

– Выпить на троих – это наша национальная традиция.

– Какая хорошая традиция, и народ у вас хороший! – пришёл в восторг чилиец.

Письмо в ООН

Были на конференции, конечно, и разные доклады, и умные речи, но я их уже не помню, разве что как Гейдар Алиев прекрасно читал стихи Некрасова, а сам высокий, красивый, с гордой посадкой головы – настоящий горец!

Не знаю, как у других, а у меня итогом конференции с громким названием «Дружба народов – дружба литератур» стал шуточный опус «Письмо в ООН», написанный якобы от лица славянской женщины. Сочиняла я его с одной белорусской поэтессой, которая и познакомила меня с Василем Быковым, и это она привезла в Баку незабвенную бутылку «Беловежской пуши». Поэтесса рассказывала мне, что в белорусском местечке «Сорок татар», которое осталось ещё от времён польско-литовского княжества, живут до сих пор потомки выходцев из Золотой орды, которые служили в княжестве в татарской коннице, потому в нашем опусе фигурирует «хан»:

«Взгляни на меня: я ведь красный товар! / Славян мне, конечно же, мало. / Тоскуя по игу монголо-татар, / Я хана себе приискала. / Но ханство, скажу вам, сегодня не то, / К тому же приелась мне ханы. / Из шведов чего-то не ходит никто, / Не чешутся польские паны, / Не сыщешь вакансий в турецкий гарем, / Не прячется гунн за кустами... / Да так же, славяне, сдуреешь совсем, / Так женщиной быть перестанешь! / И я к мужикам обращаюсь в ООН: / Не надо нам кровопролитий! / Открою ворота без всяких препон, / Вы в плен меня только возьмите! / Тащите в кибитку и в саклю свою, / А лучше на лоно природы: / Ведь я патриотка – я твёрдо стою / Всем телом за дружбу народов!»

Правда, после употребления «Беловежской пуши» стояли мы не очень твёрдо...

Кольчуга Ермака

А как-то была писательская поездка на Мангышлак: Ильяс Есенберлин, Туманбай Молдагалиев, Куляш Ахметова и другие – делегация человек десять. Мы с Куляш мазались верблюжьим молоком – Куляш сказала, что казашки юга, где водились верблюды, всегда мазали лицо шубатом, а волосы мыли айраном. Но гораздо лучше шубат пить. На Мангышлаке он очень густой и со сладким привкусом. Там же пустыня, много верблюжьей колючки и других пустынных трав, любимых верблюдами. Мы их видели. Верблюды возвышались над песками, гордо неся свои головы с вековой печалью в прекрасных глазах.

Заехали мы и к нефтяникам в Доссор и Макат. Макат я увидела впервые, но давно любила его после чудесной повести Сатимжана Санбаева «Белая аруана». Вот странности тогдашней цензуры! Из повести были изъяты совершенно безобидные строки о весенней степи:

«А под Макатом, моим родным посёлком, до мая сгорали тюльпаны. Тюльпаны моей родины, которым никогда не хватает утра, и они сгорают, не успев огрубеть...»

Какую крамолу усмотрел тут цензор? Неизвестно... Видимо, от чрезмерного усердия и бдительности у цензоров по временам ехала крыша. Например, в моей рукописи цензор вычеркнул слово «половодье», усмотрев в нём призыв к половому влечению, т. е. запрещённой в СССР эротике. Как в том анекдоте про эротомана в кабинете сексопатолога: «Почему тебе тумбочка-то напоминает женскую грудь?» – «А мне всё её напоминает!»

Поэт Бахыт Каирбеков рассказывал, что у него в стихах цензура находила признаки мракобесия – в строке о том, как Бахыт поднимает над собой знамя юности.

– Вы призываете к исламизму! – сказал цензор.

– Где, как? – удивился Бахыт.

– Вы же пишете о «знамени юности», а юность всегда зелёная, как знамя ислама.

И вот, приехали мы в Макат, когда тюльпанов уже и в помине не было, а там – удивительный человек, старый нефтяник, по имени Огонь. Шустрый, худощавый старик с коричневым лицом, изрезанным морщинами, как такыр. Он был весёлый и простодушный. Сам про себя шутил: мол, он Огонь, Война, а жена у него Тыныштык – Тишина, Мир, вот и получается: «Война и мир». Так их и звали – Война и Мир. Я тут же написала – экспромтом – стихи о нём. Раньше не писала подобные экспромты. А тут – ни с того, ни с чего! – вдруг начала «джамбулить». Прочитала стихи на вечере в клубе нефтяников. Реакция была бурная! Огонь немедленно стал народным героем, бросив мне под ноги шёлковую мерлушку. Руководитель Макаата тоже был, конечно, рад, но всё же и рассердился. Выстроил передо мной молодых, красивых ребят в хороших костюмах и ослепительно-белых рубашках:

– Вот о ком надо писать! Нефтяные короли! Наша надежда! А вы тухлого старика прославили...

Когда Олег поехал от министерства образования для проверки преподавания русского языка в казахских школах в Доссор и Макат, то там мгновенно узнали, что он мой муж. Огонь затащил его в гости, осыпал почестями, восхвалял меня до небес, а напоследок нагрузил подарками, и Олег притащил из командировки мешок с банками чёрной искры и балыка, совершенно потрясённый таким уважением к себе.

Мне было неловко:

– Зачем ты всё это взял?

– А как бы я не взял? Невозможно было отказаться – человек бы обиделся...

– Взятчик! Это же взятка в особо крупных размерах.

Но Олег считал, что справедливо собрал дань с моей славы. Как говорится: с паршивой овцы хоть шерсти клок! («паршивая овца», конечно, я). Как бы Олега поняли некоторые наши писатели! Они тоже нередко ездили за данью по областям, опустошая гостевой бюджет сельской глубинки. Стихи об Огне я потом напечатала, их даже на казахский язык перевели. Хоть так отплатила я Огню за его щедрость и широту души.

И всё же экспромт мой об Огне сыграл со мной злую шутку. Узун-кулак быстро разнёс по Степи, что появилась русская девушка – акын-импровизатор, и теперь всюду, куда я приезжала с выступлениями, от меня требовали экспромтов и немедленного восхваления местных героев. Но меня больше не тянуло на акынские подвиги, и я разочаровала народ и осталась без подарков. А надо сказать, в казахской Степи издревле одаривали акынов за их песни, которые складывались на глазах у всех – под одобрительные выкрики публики. Одаривать акына никогда не считалось зазорным. Аулы даже соревновались между собой, кто лучше одарит степного певца-импровизатора. Дарили им халаты, деньги и даже скакунов. И в наше время – дарят. Однажды запихали в багажник «Москвича» одному поэту живую овцу, а остановился он в гостинице, и что вот делать с этой овцой? Отдал администратору гостиницы. Тот-то знал, как поступают с дарёными овцами! Мигом изготовил бешбармак и притащил поэту в номер огромное блюдо с дымящимся мясом. Наш поэт так задружил с администратором,

что решил задержаться в городе на неопределённое время. Продолжил гулянку с местными стихотворцами, потерял документы, попал в вытрезвитель, а был большим шутником, и когда стали его оформлять на ночёвку, сказал, что его имя Манолис Глезос. Дежурный не уловил подвоха, спросил только:

– Грек, что ли?

– И грек, и грех! – признался поэт и упал на дежурного.

– Что это такое?! – возмутился дежурный.

– Это грекопадение! – хохотал поэт.

Всю ночь он буянил в камере, поднял алкашей на бунт.

Они орали:

– Свободу Манолису Глезосу!

Наутро пришёл начальник вытрезвителя, услышал шум и строго спросил дежурного:

– Что у вас тут происходит?

– Да вот, задержали ночью какого-то Манолиса Глезоса...

– Дурак! Манолис Глезос – греческий патриот, как он мог к нам попасть? Он сидит в греческой тюрьме. Открывай немедленно камеру!

Поэта выпустили. Начальник – в отличие от дежурного – узнал поэта, так как видел его портрет в местной газете под стихами с таким названием: «Сенокос во время лунного затмения». Стихи потом переросли в поэму, и тоже полную затмения. А вообще-то у поэта встречались и отличные строки, и овцу ему подарили не зря. Я люблю его иртышскую тему:

«До чего же ты, Иртыш, опасен: / Не один, доверившись тебе, / Под волною яростной и властной / Крест поставил на своей судьбе. / И в народе до сих пор поётся, / Как однажды хмурая река / Захватила в плен землепроходца, / Вольного, донского казака. / Поистлели рубленые струги / Вместе с ним в холодной глубине, / Но остался жаркий блеск кольчуги / Лунным отраженьем на волне. / Да ещё остался дух бродяжий / Удалых, отчаянных ватаг / В Ермаковских, Грачых и в Лебяжьих / И в других станичных именах. / В русском сердце кровь далёких предков / Так же и бурлива, и свежа. / Я руками раздвигаю ветки / И лечу в объятья Иртыша. / Пусть пугают робких и несмелых / Бакенов тревожные огни, / В золотое от загара тело / Ты, Иртыш, волною хлобыстни!»

«Жаркий блеск кольчуги» Ермака с давних пор не давал покоя кладоискателям, так как, по преданиям, эта кольчуга имела чудодейственную силу и могла защитить от пуль, стрел, копий и тяжёлых топоров-балта кочевников. Охотился за ней и мой земляк из XVII века, честолюбивый хошоутский тайджи (т. е. «принц крови») Абылай: он был любителем старины, коллекционером, и через своих русских союзников он эту кольчугу получил, дав за неё солидный куш, но – увы и ах! – кольчуга оказалась подделкой.

Колхида

Летом мы всей семьёй ездили иногда в Дома творчества: в Коктебель, Ялту, Пицунду или Дубулты. Особенно любили Колхиду. Мне, как члену Литфонда СССР, путёвку давали бесплатно, а членам семьи – за 50 процентов. Дорога тоже была тогда не дорогой, не то что сейчас. Но даже при таких льготах не все могли себе позволить подобные путешествия: зарплаты у нас были крошечные.

Мы с мужем весь год много работали, копили деньги, чтобы поехать на море. Кроме поэтических публикаций – и в Казахстане, и за его пределами, кроме заказных рецензий, переводов, книг я ещё ездила на платные выступления от Бюро пропаганды художественной литературы СП и Общества книголюбов, вела литературную страницу в газете «Ленинская Смена», подрабатывала зампредела по работе с творческой молодёжью в ЦК ЛКСМ Казахстана – вместе с поэтом Мухтаром Шахановым, в то время собиравшим огромные заль молодёжи, которые рукоплескали его громким стихам. Шаханова сравнивали с Евтушенко. Ух, сколько энергии было! Тут я сделаю небольшое отступление на Евгения Евтушенко. Он был, несомненно, самой яркой фигурой среди поэтов-шестидесятников, может, поэтому стал и самым любимым персонажем пародий.

Мемориальная подушка

Евтушенко переводил Шаханова, наезжая в Алма-Ату, где у него жила тётушка, Галина Евгеньевна Плотникова – жена профессора филологии Александра Лазаревича Жовтиса. Она была детским врачом, но увлекалась разными искусствами: писала картины, в молодости играла в театре и, конечно же, любила литературу. Имея сильный, решительный характер, взяла когда-то под своё орлиное крыло юного птенца Жовтиса, воспитала его крупным учёным и всё время держала в творческом тоне. После его ухода из жизни показывала мне «мемориальную подушку»: «На этой подушке рядом с ним спала только я – всю жизнь!» (Прекрасное заблуждение властных жён, но, может, так оно и было). Их сын Евгений Жовтис стал известным у нас в республике правозащитником. Галина Евгеньевна и Александр Лазаревич были среди немногих друзей у одра умирающего Николая Николаевича Кнорринга – деда моего второго мужа Игоря Бек-Софиева. После возвращения на родину из Франции у семьи Кноррингов-Софиевых в Алма-Ате среди литераторов было поначалу мало знакомых. Жовтисы, Руфь Тамарина, Валерий Антонов, Мила Лезина – вот и всё. Они провожали Николая Николаевича в последний путь.

Как-то я видела у Галины Евгеньевны семейную фотографию: Евтушенко в гостях у тётушки, на столе – большая кастрюля с дымящейся картошкой. Галина Евгеньевна говорила о племяннике: «Неудачный мальчик... Мы его стыдимся!», а вот почему – не знаю, хотя могли бы гордиться: он был очень знаменитым поэтом, особенно в 60-е годы. Весь СССР пел песню на его стихи (и теперь поют): «Хотят ли русские войны?», там ещё такие строчки есть: *«Хотят ли русские войны, / Спросите вы у тишины, (...) / Спросите вы у матерей, / Спросите у жены моей...»* Одно было непонятно: у которой из его жён спрашивать, потому что в наличии имелось несколько: бывших и действующих. В. Михайлов даже пародию написал об этом, оттолкнувшись от строки Евтушенко: «Карелия мне подарила Машу...»

«Карелия мне подарила Машу / (Мне прежде не хватало как-то Маш...) / А Подмосковьё – Глашу и Наташу, / И не одну – не вспомнить всех Наташ. / Москва презентовала щедро Беллу – / От Беллы я едва не угорел!.. – / Но тут послал на выручку мне Эллу / Край под названьем звонким Марий-Эл. / Мне Грузия преподнесла Тамару, / А Татарстан – задорную Гузель... / Когда бы жи-

вописного мне дару, / Всем краскам предпочёл бы я – постель! / Я круглым был от счастья, словно бублик! / И вам признаюсь нынче тет-а-тет: / Дарили мне пятнадцать все республик, / Мой уважая суверенитет. / Порой кручу я дома старый глобус: / Там нет страны, где я бы не бывал, / И где бы, как в блокноте старом опус, / Подарок меня вновь не ожидал. / Мне говорили Люда или Ида, / В глазах тая восторга торжество: / – Тебе одна лишь только Антарктида / Не подарила, милый, никого!.. / И хоть теперь я меньше евтушеню, / Но сердце сивым пламенем горит!.. / «Земля, благодарю тебя за Женю!» / – Вселенная планете говорит».

Евтушенко не обижался на пародии. Напротив, даже провоцировал их, считая, что они тоже помогают популярности, иногда даже больше, чем сами стихи. Страсть к популярности стала для него наркотиком и не отпускала до глубокой старости. Он даже похорониться захотел рядом не с матерью или отцом, а с Борисом Пастернаком. Вот уж Пастернак, наверно, удивился, обороняясь гробовой доской. Господи, прости и помилуй! Может, как раз эта страсть к популярности любой ценой не нравилась строгой тётушке Евтушенко?

«Сходили цари с кораблей...»

Но вернёмся к теме летних путешествий. Моей семье приходилось крутиться, чтобы заработать на отдых. Хорошие отпускные получал и Олег: как школьному учителю, ему платили за два месяца каникул, была надбавка и за звание заслуженного учителя, к тому же он брал много уроков, и дома мы его почти не видели – он всё время пропадал в школе. Лето нас, наконец, соединяло. И вот, подхватив сына, мы ехали на море, в какой-нибудь дом творчества, где обычно не выдерживали 24 дня и потому разбавляли праздный отдых активными экскурсиями по окрестностям Крыма, Прибалтики или Кавказа. У нашего сына было счастливое детство, он даже в Артеке отдыхал.

...По свету скитались всё лето, добрались к кавказским горам. Там женщины в чёрном с рассвета молились на каменный храм. На улицах и на причале зияли их чёрные шали, как траур по древним векам, по царствам, пропавшим когда-то, по нежной Колхиде своей – в венке виноградном, крылатой, кормившей с руки голубей. Браслетами стиснув запястья, к ногам её, в поисках счастья, сходили цари с кораблей...

А мы видели «царей» литературы. Олег восторгался нашим окружением: вот крупный, неторопливый, с царственной осанкой Давид Кугультинов. Вот немногословный, неловкий в движениях Вениамин Каверин, написавший знаменитый роман «Два капитана», он был под присмотром супруги. Она – сестра писателя Юрия Тынянова – ласково улыбаясь, говорила о муже: «Он же совсем как дитя! Руку опять сломал...» Каверин в самом деле держал руку на перевязи и покорно семенял за женой. Говорят, она его любила материнской, жертвенной любовью и служила его таланту. Вот хрупкая, как лилея, Белла Ахмадулина – «княжна Бэла», она ходила в просторной хламиде, белых лосинах и сапожках – и это в жару, при ней всегда имелась записная книжка, которую она кокетливо держала на отлёте и куда иногда вписывала свежие рифмы. Кажется, кроме неё никто в доме творчества летом не творил, а все предавались отдыху и разным удовольствиям. Я ни разу не видела Беллу на пляже или на экскурсиях. Она только

сочиняла, а если и появлялась где-то, то непременно в сопровождении свиты из влюблённых в неё поэтов. Чёрные её, не то татарские, не то итальянско-еврейские глаза молодо горели и оставались прекрасными даже в старости: лицо красавицы было испещрено ранними морщинами, но Белла всё равно выглядела по-девичьи грациозной, хрупкой – небесное создание.

* * *

Мы тогда запоем читали остроумную и красочную прозу Фазиля Искандера, и теперь с радостью узнавали его родную Абхазию, которую знали по его книгам: великолепную природу, с могучими эвкалиптами, вековыми соснами, мандариновыми садами и самшитовыми зарослями, благородных стариков, похожих на дядюшку Сандро из рассказов Фазиля. Абхазы ещё называют себя «апсуа», что в переводе означает «люди души». Так оно и есть: это люди души. Старики не спеша пили кофе в приморских кофейнях и задушевно беседовали о сиюминутном, как о вечном, и поглядывали на морской горизонт, откуда снова могли приплыть аргонавты – волны на закате как раз переливались, струились золотым руном, да и сами старики вполне могли быть потомками этих отважных авантюристов-мореходов, которые проложили путь Элладе в богатые земли Колхиды, ведь мифическое золотое руно, за которым они охотились, было символом благоденствия и вечного счастья.

И мы приезжали на берега Колхиды за «золотым руном» вдохновения. Дом творчества зажигался вдохновением. Я тоже после поездки в Абхазию написала целый цикл стихов «Колхида» – я там слышала Музыку на каждом шагу. Сам воздух Абхазии пронизан Музыкой и поэзией.

«...Абхазия! Курчавый виноград / По склонам гор охотится за солнцем. / К стене воды стеной подходят сосны, / И меж собой о вечном говорят. / На волю, обхитривши камнепад, / Пастух овец по дымным травам гонит. / Он слышит: голубь над голубкой стонет, / И потому отводит тут же взгляд. / Потупился стыдливо, виноват, / Что помешал нечаянно природе. / Внизу, в долине, утро колобродит, / И, весь в слезах росы, хохочет сад. / За девочкой вдоль каменных оград / Бегут мальчишки – то-то состязанье! / И о любви бессмертное сказанье / Доносит ветер: крик и грохот лат. / День протечет с душой неспешной в лад. / Пастух сойдёт в селенье с поднебесья. / Там девочка поёт, и звуки песни / Таят невинность и грехом томят. / Горит звезда. В саду своём сидят / Пастух и молчаливая подруга. / Дымится снесь. Пропых травой луга / Овечий сыр, и яблоки блестят. / Среди урюмых каменных громад, / На побережье моря золотого, / Полны любви молчание и слово, / Как было и столетия назад...»

Однажды Абхазия задумала издать сборник стихов о своей стране, овеянной мифами. Ко всем обратилась, кто бывал в Пицунде, и ко мне тоже. Но сборник, кажется, так и не вышел, потому что вскоре в Абхазии началась война. Я с ужасом читала военные сводки в газетах. Особенно потрясла меня одна картина: цветочный горшок в школе, а из земли торчат отрубленные человеческие пальцы. И тогда видела я отвесные скалы абхазских фьордов – по дороге на озеро Рица – и падающие со скал водопады, как слёзы ревущей земли, и суровый монастырь в Новом Афоне со скорбными ликами святых. Но всё кончается: и хорошее, и плохое. И война кончилась. А скалы плачут, а лики полны скорби...

Мой Волошин

Была Юнна Мориц с маленьким сыном (это уже в Коктебеле, окружённом полями цветущей лаванды. Запах от неё – голова кружится!). Помню четыре строки «кавказского» стихотворения Юнны:

«На Мцхету падает звезда, / Уже не больно ей разбиться, / Но плачет Тициан Табидзе – / На Мцхету падает звезда...»

Вроде бы ничего и нет в этих стихах, а чем-то они завораживали. Поэта Тициана Табидзе расстреляли как врага народа. Может, потому эта подспудная трагедия, о которой в стихах не говорилось напрямую, но которая сквозит между строк, задевала за живое. Юнна была в Коктебеле с сыном. Он, как и все дети, собирал цветные камешки, что выбрасывало море. Юнна о своём сыне написала немало стихов, полных нежности и материнской тревоги, что редко встречается в стихах поэтов: они пишут так, будто все бездетны. Юнна и теперь наблюдала за охотой сына, бормоча новые строки, похожие на колдовской заговор:

«Положи этот камень на место, / В золотистую воду, / В ил дремучий и вязкий, как тесто, – / Отпусти на свободу! / Отпусти этот камень на волю, / Пусть живёт, как захочет, / Пусть плывёт он по синему морю, / Ночью в бурю грохочет. / Если выбросит вал шестикратный / Этот камень на сушу, – / Положи этот камень обратно / И спаси его душу. / Положи за волнистым порогом, / Среди рыб с плавниками. / Будешь богом, светящимся богом, / Хоть для этого камня...»

Худенький, тихий мальчик Юнны страдал аллергией, и ему нельзя было клубнику и персики, ради которых многие и приезжали на море, и он печально вздыхал, наблюдая за другими детьми, которые поедали фрукты в больших количествах. Восточный Крым – прекрасное место для оздоровления. Наши коттеджи убирала женщина, которая специально переехала сюда из сырой Белоруссии, чтобы вылечить туберкулёз – и вылечила: она устроилась сначала работать на виноградник, ела много винограда с чесноком, дышала морским воздухом, перемешанным с целебными смолами горного леса. Жил – ради здоровья – в Крыму и Чехов (в Ялте), а в Коктебеле – поэт и художник Максимилиан Волошин, у которого была астма. Вокруг его дома и возник Дом творчества писателей.

* * *

Не могу удержаться, чтобы не рассказать о Волошине, чьи стихи я обожаю: они полны первозданной поэзии, а его акварели написаны крымским воздухом: ими можно дышать. Дом Волошина, сложенный из диких камней, врезается носом в морской берег, как корабль Улисса, вставшего здесь на прикол. Эпический мореход проплывал мимо призрачной Киммерии и, наверно, видел скалу в море с профилем бога Вулкана. Волошин был похож на этого бога: *«И на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой»*. Босой, с огромной круглой бородой, и сам крупный, могучий, бродил он по берегу, собирая сердолик лунного отлива, цветные агаты, обломки древних кораблей, бусины генуэзских красавиц, что выбрасывало море. А ещё – деревянные фигурки, выточенные природой. Они становились габриаками – добрыми духами его дома, хотя на самом деле габриаки – это черти. Габриаки выгибались, корчились, плясали на полках, а цветные камешки насыпались в большую чашу на столе, и лукавый Волошин брал их ложечкой, опускал в стакан с чаем, чем удивлял гостей. Такая у него была шутка!

Он вообще был большой шутник и сказочник: превратил хромоножку Елизавету Ивановну Дмитриеву, учительницу местной гимназии, которая ковыляла по приморскому песку в нелепой шапочке и с муфточкой, в загадочную поэтессу Черубину де Габриак, по которой сходили с ума издатели и читатели. О ней знали только, что она не то француженка с итальянским именем, не то итальянка с французской фамилией. Единственная дочь строгой католической семьи, где девушки одни не выходят из дома и стихов не пишут, поэтому конверты (с чёрной каймой!) посланы тайно, гонорара никакого не надо. По воскресеньям она бывает в костёле, но увидеть её и там невозможно: она поёт в хоре. Выслеживать опасно – это может кончиться трагедией. И адрес был: «до востребования, Ч. де Г.» Волошин не показывал её никому – только стихи: *«В небе вьётся красный плащ – я лица не увидала!»*, *«О, суждено ль, чтоб я узнала любовь и смерть в тринадцать лет!»*. Интриговал, играл в мистификацию. Интрига срабатывала – стихи Черубины печатали, в неё влюблялись, воображали её печальной красавицей с томным взором. Ах, Черубина! У неё была могучая фигура атлета, буйная шевелюра, окладистая борода, курносое лицо греческого бога Вулкана и улыбка ребёнка. Он всегда стоял за спиной поэтессы – её создатель, Максимилиан Волошин. Говорят, красавец и поэт Николай Гумилёв хотел даже на ней жениться, но получил отказ.

Когда Черубина де Габриак была рассекречена, интерес к ней угас, и стихи её никто больше не читал. Увы! Даже самые, казалось бы, искушённые в поэзии люди ищут в литературе либо интригу, либо скандал, но только не саму поэзию. Это и теперь происходит – люди меняются мало. Отлично зная человеческую натуру, Достоевский, например, сюжеты для своих романов брал из криминальной газетной хроники и, заманив читателя в этот капкан, мучил потом многоумными размышлениями. Некоторые вырывались, отгрызая себе лапу, но какая-то часть добровольно оставалась во власти великого мыслителя. И это была его лучшая добыча!

Елизавета Дмитриева, чья слава просияла коротким летним лучом, оказалась не добрым духом Волошина, найденным на морском берегу, а перевёртышем, химерой, миражом...

Но над всеми габриаками возвышалась «царевна Солнца Таиах». Поэт считал, что она похожа на его жену. По-моему, совсем не похожа, но у влюблённых поэтов особое зрение: они видят то, что другим недоступно. И если поэт не находит в жизни свой идеал, то придумывает его.

«В напрасных поисках за ней / Я исходил земные тропы – / От Гималайских ступеней / До древних пристаней Европы. / Она – забытый сон веков. / В ней несвершённые надежды. / Я шорох знал её шагов / И шелест чувствовал одежды. / Тревожа древний сон могил, / Я поднимал киркою плиты... / Её искал, её любил / В чертах Микенской Афродиты. / Пред нею падал я во прах, / Целуя пламенные ризы / Царевны Солнца – Таиах – / И покрывало Моны Лизы. / Под гул молитв и дальний звон / Склонялся в сладостном бессилье / Пред ликом восковых мадонн / На знойных улицах Севильи. / И я читал её судьбу / В улыбке внутренней зачатая, / В улыбке девушек в гробу, / В улыбке женицин в миг объятья. / Порой в чертах случайных лиц / Её улыбки пламя тлело, / И кто-то звал со дна темниц, / Из бездны призрачного тела. / Но, неизменна и не та, / Она сквозит за тканьью зыбкой, / И тихо светятся уста / Неотвратимую улыбкой...»

Скульптурное изображение царевны Таиах всегда сияло в его кабинете, особенно в лунные ночи – тогда губы Таиах оживали, и она улыбалась поэту.

С морской бурей на голове, беседуя с тенями античных богов и героев, ходил он в холщовой хламиде, подпоясанный вервием, и ничего под хламидой больше не было. Жители прибрежной деревушки подсмеивались над ним, кричали:

– Эй, штаны надень!

С лёгкой руки Максимилиана Волошина в Коктебеле появился Дом творчества писателей. Это была, вообще-то, вынужденная мера: после революции дома у зажиточных граждан отбирали, и чтобы сохранить свой каменный замок, Волошин отдал его в дар Крыму: мол, пусть там будет теперь Дом творчества, открытый для всех. Писатели и раньше сюда приезжали – гостить у чудака-киммерийца. Возник «Орден обормотов»: Гумилёв, Вересаев, М. Горький, Алексей Толстой, Андрей Белый, Брюсов, Александр Грин, Марина Цветаева. Её, совсем юную тогда, Волошин любил больше других, и не только братской любовью, но тут появился Сергей Эфрон, и Марина немедленно к нему переметнулась, потому что смертельно влюбилась. Он был юным, он был красавчик! Он подарил ей троих детей, а от Волошина рождались только сказки и стихи.

* * *

Юнна Мориц бормотала стихи Цветаевой и Волошина. Мой сын-подросток оконфузил меня перед ней. Я неосмотрительно прочитала ему пародию одного нашего поэта на неё, а дитя моё запомнило, и когда я стала его знакомить с Юнной, оно радостно выдало:

– А я вас знаю! – и цитирует громко пародию: – *«Юнна Мориц с Линой Пуриц фаршировиц синих куриц!»*

Я чуть сквозь землю не провалилась от стыда, а Юнна весело рассмеялась:

– Забавно, забавно...

Юрмальский потрошитель

В вестибюле столовой, под фикусом (это уже в Дубултах), важно восседал главный редактор (в то время) «Литературной газеты» Александр Чаковский, покуривая трубку, и с ним все здоровались, проходя мимо. Сидел, пока все не перездороваются, только тогда шёл трапезничать. Был такой ритуал!

В Дубулты, на побережье холодного моря, любили приезжать стареющие москвичи, и кухня была ориентирована на них: постная и диетическая. Мы сбегали на рижский рынок за селёдкой и солёными огурцами, устав от каш и гороховых супчиков с сухарями. По балтийскому побережью когда-то прогуливался один из любимых моих поэтов Давид Самойлов – он, на склоне жизни, нашёл свой дом в Пярну. Слушал голос моря – голос Вечности, и голос этот диктовал ему чеканные строки:

«Кто устоял в сей жизни трудной, / Тому трубы не страшен судной / Звук безнадежный и нагой. / Вся наша жизнь – самосожженье, / Но сладко медленное тленье, / И страшен жертвенный огонь...»

«Когда тайком колдует плоть, / Поэзия – служанка праха. / Не может стих перебороть / Тщеславья, зависти и страха. / Но чистой высоты ума / Достичь нам тоже невозможно. / И всё тревожит. Всё тревожно. / Дождь. Ветер. Запах моря. Тьма...»

Мы ходили пешком в Юрмалу, где всегда было шумно и празднично, где в крохотных магазинчиках продавали россыпи янтарных украшений и где продавщицы говорили с иностранным акцентом. Для нас это была уже заграница – с европейским лоском, чистыми улочками и терпким запахом кофе в элегантных кафе, где ещё подавали и крошечные пирожные, украшенные клубникой. В Риге снимались заграничные кадры фильма «Семнадцать мгновений весны», и нам показывали дом, где в окне – для конспирации – выставлялся горшок с цветком. Там же снимался и советский «Шерлок Холмс». В Домском соборе пахло старым деревом, вздыхали органные трубы, сквозь цветные витражи окон лился неземной свет, звенел латунный слог латыни. И на улицах Риги звучала чужая речь. Да, это была заграница! И как в заграничных фильмах, по приморским городкам шастал настоящий Джек-потрошитель, который ловил женщин и мучил – нас об этом предупредили в Доме творчества. Писательские жёны всё время говорили о страшном и загадочном потрошителе, были в постоянном возбуждении и с наступлением темноты специально ходили в соседний парк, надеясь встретить потрошителя и посмотреть, «шо це таке». На всякий случай они брали с собой увесистые томики своих знаменитых мужей. Это, видимо, устрало потрошителя, и он затаился. Жёны были разочарованы. Говорили:

– Приедем в Москву, нечего будет рассказать, ничего интересного не видели!

Писательские дети, под предводительством Кати Рождественской, дочери Роберта Рождественского, носились по парку Дома творчества с палками и воинственно орали: играли в разбойников. Катя была очень озорная и хулиганистая девочка. Она сама вспоминала, что как-то вышла в комнату, где полуношничали её родители с друзьями-писателями и, видно, сильно шумели, и сказала им: «Вы все говны!» Как говорится: устами младенца... Теперь она стала степенной дамой, издателем и фотохудожником. Больше не говорит плохих слов. Одевает своих героев – людей известных – в наряды исторических личностей разных эпох и делает фото-картины. Получается весьма оригинально. У неё много клиентов. А кроме того, Катя Рождественская устраивает вечера памяти отца, где иногда поёт её сын – он прекрасный вокалист. Достоянная семья. Роберт Иванович всю жизнь любил своих детей и свою жену, Аллу Кирееву, и много стихов посвятил ей. В то время как его друзья, поэты-шестидесятники, бурно проводили молодость, меняли подруг, сходились-расходились, бросали детей, Рождественский трепетно хранил семью и ничем не запятнал себя, хотя времена бывали такие – они всегда «такие!» – что не все сумели остаться чистыми. За это я его уважаю, а стихи не люблю. Во многих полно риторики, сиюминутности, и нет высокой – в пушкинском понимании – поэзии, как и в стихах его друзей, поэтов-шестидесятников: Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы. Они были кумирами того времени. Песни на их стихи поют, но тут главное – хорошая музыка, иначе бы никто не пел. Возможно, со временем интерес к ним снова возродится – они всё же отражали своё время, но в моём творчестве не оставили никакого следа – там главенствовал Павел Васильев! А вот муж мой Олег поэтов-шестидесятников, и особенно Роберта Рождественского, любил восторженно, и на уроках то и дело читал своим ученикам. Олега привлекал гражданский пафос поэта и прямота его истин. И муж мой, и Роберт Иванович искренне верили в идеалы коммунизма, а я всё же с гнильцой аполитичности и нигилизма.

Отставший от поезда

Вспоминаю встречу с Евгением Евтушенко в Алма-Ате, в ТЮЗе. Было это уже в годах 90-х, наверно. В театр пригнали учащихся ПТУ и курсантов пограничилища, чтобы хоть как-то заполнить зал. Объявили Евтушенко. Он вышел, как всегда, в расписной рубашке, в клетчатой кепочке, и сильно смахивал на клоуна. Может, поэтому кто-то из зала крикнул:

– Вы разве Евтушенко?

– Евтушенко! – ответил поэт.

– Евтушенко уже умер!

– А кто же тогда я?

– Мы думали, вы Куклачёв, и кошек показывать будете!

Евтушенко растерялся. Он был похож на человека, отставшего от поезда. Его поезд ушёл в СССР и больше не вернулся. А вот раньше... В 70-е годы был анекдотичный случай с нашим алма-атинским поэтом Александром Елковым. Он приехал выступать в сельскую глубинку, и там, зайдя перекусить в столовую, оказался в кольце возбуждённых поварих – они приняли его за Евтушенко, видимо, посчитав: раз поэт – значит, Евтушенко! Такая всенародная слава у него была. И как Елков не отпирался, общепитовские девушки накормили бесплатно и глядели на него, затаив от счастья дыхание. Увы! Прошли те благословенные времена, когда, по словам Евтушенко, поэт в России был больше, чем поэт. Правда, он не объяснил: больше чего?

Стали пылью дороги. Стали сказками были. Мы оплакали многих, а после – забыли. Отреклись от кумиров. Новый век разменяли. С электронной лирой по «сетям» заплутали...

Классик и «Лорд»

У меня есть фотография, где я, девятнадцатилетняя, начинающая поэтесса, рядом с классиком советской литературы 60-х годов Робертом Рождественским, в компании Светланы Штейнград и поэта Василия Бернадского.

Бернадский был колоритным типажом старой Алма-Аты. Он походил на английского лорда – поэты и звали его в шутку «лордом»: ходил с тростью, недорогой серый костюм отлично сидел на его высокой, стройной фигуре и выглядел дорогим. Старость не портила красоты Бернадского, а седина подчёркивала благородство. Но облик этот никак не совпадал с тем, что Бернадский делал: был пьяницей, писал ничем не примечательные заметки в газеты и простенькие, если не сказать примитивные стихи. Как-то я покритиковала его сочинения, к тому же написала на него пародию, составив её из строк самого Бернадского – так сказать, мини-избранное поэта:

«Бежали к звёздам паровозы. / Рождали травы новый день. / А я писал метафорфозы / И шёл с улыбкой набекрень».

«Лорд» оскорбился, хотя все эти строки были его «личной классикой», я от себя не добавила ни одной запятой. Он пригрозил откусить мне нос, а если одумаюсь и похвалю его, то он поставит мне ящик «Шампанского». До «Шампанского» дело не дошло, но больше я «лорда» не критиковала: не хотелось, чтобы мой орган обоняния превратился в гоголевский Нос и разгуливал сам по себе в моём новом пальто.

Рождественский приезжал в Алма-Ату на съезд писателей, куда и меня послали от Семипалатинской писательской организации как молодую смену. Тогда многие великие старики были ещё живы, и я глядела на них со священным трепетом, разинув рот. Больше других запомнился румяный толстячок в чёрной круглой шапочке – казахский классик Сабит Муканов.

На фото Роберт Иванович просматривает наши со Светкой стихи. А что уж были за дела у него с Бернадским, не знаю: может, наш «лорд» брал у знаменитого поэта интервью для какой-нибудь газеты, и фото делалось для газеты. Я вообще плохо помню подробности этой встречи – всё из-за моей природной дурусти запоминать ерунду. Одно только и помню: крупные бородавки на лице Рождественского, крупные, африканские губы и сильное заикание, когда говорил: хотелось стукнуть его по спине, чтобы вылетела невидимая пробка и к нему бы вернулась нормальная речь.

Это была единственная моя встреча с ним. В Доме творчества в Дубултах семья поэта отдыхала без него, но тень Роберта Рождественского волновала моего мужа.

Саша Красный

За одним с нами столом Дома творчества (это уже в Крыму) обедал столетний Саша Красный. На самом деле, он Александр Давыдович Брянский (и тоже, наверно, фамилия не подлинная) – бывший одесский, а затем московский куплетист. Но теперь был знаменит уже не куплетами, а тем, что видел Маяковского. Саша Красный ездил по окрестным городкам Крыма и выступал с воспоминаниями о поэте. Нам же, кроме встреч с глашатаем революции, рассказывал ещё о том, как спасся в голодомор, поедая вяленую воблу. Да и вообще, о каком бы времени своей столетней жизни он ни вспоминал, первым делом расскажет в подробностях о том, что ел, исхитряясь добывать еду всегда и везде. Может, потому и прожил так долго, что имел звериный инстинкт выживания и запас пищи. И снова та же ерунда, что и с Робертом Рождественским: рассказы Саши Красного о Маяковском не помню, а как воблу ел – запомнила, да ещё, что жена его зимой ходит без чулок и никогда не мёрзнет. По аллеям Дома творчества она прогуливалась только босиком. Ступни её крепких ног звенели закалённой сталью. Столетний Саша Красный признавался, что всё ещё испытывает к жене любовное влечение, но уж больно она – после моря – солёная, и влечение тут же угасает.

Вакх в отпуске

Мастера советского детектива братья Вайнеры, едва случался какой-то скандал на кухне с битьём посуды и дракой (это уже в горячей Пицунде), немедленно неслись туда с походными блокнотиками и фиксировали происшествие. Приезжали писатели Турции, Кубы, Чехословакии, Болгарии, Польши. Наши дети обучали дочь одного турецкого поэта русскому языку, и уже вскоре эта девочка по имени Барыс стала бойко материться. А пятнадцатилетняя дочка польского прозаика, длинноногая, белокурая акселератка, флиртвала с чистильщиком моря, который по утрам вылавливал сачком водоросли и медуз. Он притягивал польку волосатой грудью и диковатой, южной красотой, которая так нравится белым женщинам. Из зарослей самшита, вместе с табунком мальчиков, вылезала Лиза Кулиева – дочь

Беллы Ахмадулиной и внучка известного балкарского поэта Кайсына Кулиева. Говорят, Кулиевского сына Ахмадулина увела буквально из-под венца. Лиза Кулиева, обликом очень похожая на мать, жила сама по себе. Мать не особо заморачивалась её воспитанием и не волновалась, что её дочь-подросток целыми днями пропадала в этих самшитовых зарослях с табуном ребят. Дворник Дома творчества, подметавший дорожки огромной метлой, тоже из самшита, сокрушённо качал головой, глядя на девочку:

– Э-э, совсем пропащий дэвочка! Совсем...

А Белла Ахатовна плыла по знойному воздуху в белых одеждах, с алой розой в руке. Абхазские поэты пригласили Ахмадулину в кафе на берегу озера Инкит. Она была похожа на белоснежного ангела, крылья белой хламиды развевались за плечами. Назад Белла возвращалась, спотыкаясь на высоких каблуках, со сломанной поникшей розой – падший ангел был пьян. Как её понимал наш алма-атинский поэт Валентин Смирнов! Он тоже вернулся с озера Инкит: ходил в деревню за чачей. Чача – крепчайший напиток, иногда бывает до 60-ти градусов. Её делают из виноградного жмыха. Огненную от чачи шею Смирнова обвивали гирлянды такой же огненной чурчхелы, а красная макушка была прикрыта виноградными листьями – Вакх в отпуске!

«О-о, Белла!»

Белла Ахмадулина бывала в Алма-Ате, и её приглашали в разные литературные семьи. Игорь Софиев вспоминал, что ему с его женой Милой Лезиной удалось тоже заманить Беллу к себе: в дом набилась тьма весёлого народа, Белла и сама была весела, всё порывалась позвонить «Булатке», как звала Окуджаву. По иронии судьбы, после смерти арбатского барда Белла стала лауреатом премии имени Окуджавы. Если бы он пережил Беллу, то стал бы, наверно, лауреатом её имени. Была Белла в гостях и у Инны Потахиной, и Потахина гордилась, что самолично пожарила ей яичницу. И Мила, и Инна, и многие поэтессы 60-х с придыханием говорили о Белле, поклонялись ей, как идолу, и, конечно же, немного подражали и в стихах, и в богемном бытие. Всё же была в ней какая-то магия, которая завораживала, и когда она читала стихи, выпевая их, вытягивая белую шею, и мужская часть зала стонала: «О-о, Белла!», то походила на хрупкую, нежную птицу, которую мог вспугнуть любой неосторожный вздох, дуновение ветерка – таким казалась она неземным созданием. Ещё напоминала трепетную свечу. Одна из её книг так и называется – «Свеча».

«Всего-то – чтоб была свеча, / Свеча простая, восковая, / И старомодность вековая / Так станет в памяти свежа. / И поспешишь своё перо / К той грамоте витиеватой, / Разумной и замысловатой, / И ляжет на душу добро. / Уже ты мыслишь о друзьях / Всё чаще, способом старинным, / И сталактитом стеариновым / Займёшься с нежностью в глазах. / И Пушкин ласково глядит, / И ночь прошла, и гаснут свечи, / И нежный вкус родимой речи / Так чисто губы холодит».

Белла выступала на алма-атинском ТВ, принесла огромное яблоко апорта – как поэтическую метафору соблазна. Вычурная в жизни, то и дело подчёркивающая, что она поэт, Белла не могла без вычурности и в эфире. И вот, когда Белла отвлеклась на ответы журналистов в студии, ведущий передачи съел яблоко – прямо в кадре. Так простота жизни подшутила над вычурностью.

Атамурад

Я люблю Атамурада Атабаева. Он очень талантлив. В поэмах его мощь стихий, сильный, мужской голос и вековая мудрость древнего народа, где главенствуют честь и достоинство, так вдохновенно воспетые туркменским классиком Махтумкули – его блистательно перевёл на русский язык Арсений Тарковский. Когда Туркмению поработил культ личности туркменбаши, когда туркменбаши был установлен золотой памятник – он поворачивался вслед за солнцем, или солнце вслед за ним? – когда туркменские учёные утверждали, что едва туркменбаши въезжает в пределы курортного местечка Фирюза, где у него дом, то над Фирюзой немедленно рассеиваются тучи и сияет солнце, а если хворому человеку пощастливится прикоснуться к туркменбаши – больной тут же исцеляется – именно тогда, в разгар культа личности, оппозиционные туркмены бежали за границу. Атамурад остался, но впал в немилость, потому что не писал о своём «падишахе» хвалебные оды, как делали это все поэты республики, не успевшие сбежать. Атамурад заперся дома, перестал писать стихи, но совсем не писать не мог: пил зелёный чай и переводил на туркменский язык «Коран». «Падишах» призвал Атабаева к себе – на роскошный туркменский ковёр, и с отеческой обидой стал допрашивать:

– Почему ты не любишь меня, не пишешь обо мне? Мы тебе звание народного дали, а ты...

– Звание мне народ дал! – ответил гордый поэт.

– Ну что тебе стоит написать обо мне? Тогда я сниму запрет на твои публикации!

И Атамурад написал поэму – а я её перевела, – где сравнивал туркменбаши с великими правителями разных времён, но рефреном шло: «Помни о Боге!» Как грозный набат, как небесный глас: «Помни о Боге!» Конец всех правителей в поэме был печален, потому что они, в своей гордыне и жажде беспредельной власти, забывали о Боге. Туркменбаши предпочёл в поэме увидеть только превосходные сравнения с великими и не заметить рефрена. Атамурада снова стали печатать, но установили за ним слежку и цензуру. Он задыхался! Он приезжал в Алма-Ату, жил несколько недель. Говорил мне, что у нас ему спокойно и хорошо, здесь он свободен, но тосковал по белым пескам, таким чистым, что в них купаются, как в речной воде, по запаху янтака, терпкому, как запах женских волос. И возвращался домой. В Пицунде он тоже гулял на свободе, рассказывая своим загорелым подругам о прекрасных текинских скакунах, от которых рождаются солнце и ветер.

Аромат сорванного цветка

Нередко товарищи по перу говорят мне:

– Зачем ты тратишь время на переводы, на чужое? Лучше бы своё написала!

И как мне им объяснить, что у поэта нет времени, потраченного зря – всё идёт в строку, всё «чужое» переплавляется в «своё».

«Перевожу чужую речь, / Неведомую мне, / И я уже готова сжечь / Себя в её огне, / Ведь кровью сердца моего / Вспоила я её, / И нет чужого ничего, / И всё теперь – моё!»

Это в самом деле сродни донорству: отдавая – обновляешь собственную кровь, если, конечно, не томишься переводом, не считаешь его рабским трудом: *«Ах, восточные переводы! Как болит от вас голова...»* А томишься, потому что трясешься над каждой каплей своего вдохновения, жадничаешь от скудости творческой энергии. Арсений Тарковский, у которого «болела голова» от восточных переводов, был, тем не менее, необычайно щедр. Он открыл русскому читателю лучших поэтов Востока, он их полюбил, хотя переводческая работа была для него вынужденной подёнщиной, единственным средством заработка, и выматывала его. Собственные стихи Тарковского не печатали. Восток тоже ответил ему любовью: из поэтических родников Востока черпал Тарковский образы для своих магических стихов. Вот хотя бы его знаменитый «Верблюду»:

«На длинных нерусских ногах, / Стоит, улыбаясь некстати, / А шерсть у него на боках, / Как вата в столетнем халате. / Должно быть, молясь на восток, / Кочевники перемудрили, / В подиёрсток втирали песок / И ржавой колючкой кормили...»

Разве может быть зря потраченным временем знакомство с другими культурами, другими литературами, желание познакомиться с ними всех? Русские поэты всегда считали своим долгом переводить, обогащая родную культуру, соединяя её с большим и многоязычным миром. Русские поэты XIX века, переводя западных поэтов, привели в Россию целое литературное направление – романтизм. Жуковский познакомил русского читателя с Гомером; Пушкин – с балканской поэзией, с некоторыми кораническими сюжетами, «Сказка о рыбаке и рыбке» заимствована у турков. Но и «своего» было ему не жаль – раздавал! Подарил Гоголю замысел «Мёртвых душ». Столь же расточителен был Павел Васильев – вдохновение, кипение в нём жизни было такое сильное, что переливалось через край, и он написал стихи «Мухана Башметова», он написал «Песни киргиз-казаков», он сделал переложение стихотворения Ильяса Джансугурова «Родительница степь», которое долгое время считали собственным сочинением Васильева, пока не нашли в архиве репрессированного казахского поэта оригинал. Таланта было так много, что Павел легко отдавал первенство друзьям, тому же поэту и жокееу Николаю Титову, который слегка завидовал Васильеву. У меня, конечно, кипение не столь бурное, но тоже ничего не жалко! И я думаю, шутя: если протянуть дорожку из переведённых мною строк, то, наверно, можно дойти до Луны, перелезть через кратеры, и – «Здравствуйте, я ваша тётя!» А теперь я открою вам страшный секрет: чаще всего моё желание переводить вызвано просто тем, что я люблю писать стихи: что бы ни сочинять, лишь бы сочинять, и высокие мотивы тут ни при чём.

Укоряют меня друзья и в том, что иногда переводы мои длиннее оригинала. Но я не попугай, чтобы повторять автора слово в слово, то и дело подсчитывая количество строк. Я – переводчик, я перевожу, разворачиваю мысли и образы поэтов, добавляя к ним и своё вдохновение, и порою, да, переливаюсь через край. Но тут и особенности тюркского языка (я перевожу в основном тюркских поэтов): он компактнее русского. Там, где тюркский поэт обходится одним многозначным словом, русскому переводчику надо пять-шесть, а то и несколько строк. Например, чудесное, нежное слово «айналайын» – дословно *«кружусь вокруг тебя, беру твои беды на себя»*. Вместо одного казахского слова, передающего богатую гамму чувств, понадобилось сразу несколько на русском языке. Да и вообще, точный перевод в принципе невозможен, потому что каждое слово, поставленное поэтом

рядом с другим словом, имеет уже сакральную связь, нерасторжимую, и когда переводчик переставляет слова или заменяет другими, то он поневоле нарушает гармонию, продиктованную поэту свыше, а значит, сочиняет уже больше свои стихи, чем доподлинно передаёт оригинал. А как перевести воздух, что сквозит между строк? Как несколькими словами обозначить весь пласт вековой культуры, на котором поднялись стихи иноязычного поэта? Но что-то всё же остаётся – аромат сорванного цветка...

Город любви – Ашхабад

Я любила ходить по Ашхабаду в утренние часы, когда ещё не начинало дрожать знойное марево, когда, забывшись в щели, спали варанчики, когда с Текинского базара прилетали запахи зелёного чая и свежих лепёшек. Мужчины, одетые в стёганые халаты и бараньи шапки, женщины в длинных платьях и наголовных халатах несли стопки этих вкуснейших тандырных лепёшек – еда на весь день. В 90-е туркмены бедно жили, но говорили гордо: «Зато у нас бесплатная соль!»

Иногда я наблюдала такую картину: посреди сквера старик разворачивал коврик, уютно располагался на нём, подогнув ноги, вытаскивал из узелка маленький термос и пиалку. Сидел и пил чай, не обращая внимания на прохожих и машины. Он был полностью погружён в свои мысли и долгое чаепитие. Он был отрешён и спокоен, как пески пустыни. Я много потом написала стихов о Туркмении – целую «Туркменскую тетрадь» и цикл «Восточный базар». И до сих пор в ноздрях моих остался пряный дух медовых дынь, цветущей фисташки, горячий воздух белых песков. Я вновь хожу по земле древнего Парфянского царства, вижу на высоком холме руины его столицы – золотой Нисы. То ли ветер поёт, то ли юная царевна Родогуна играет с ветром. Ветер, шая, вырывает у неё из рук белый платок, и платок этот – через времена – летит ко мне белым облаком. «Привет, Родогуна!» – «При-и-ивет!» – отвечает не то ветер, не то диковинная птица угод, которая раньше была красивой, но очень непослушной девушкой. Туркмены рассказали мне про неё легенду.

Для безмолвья этот странный край придумала природа, но озвучились барханы звонкой дудочкой удода. Он красив! Сияют перья красноватого оттенка. До сих пор живёт поверье – стала птицею туркменка. Шла к пастушьему становой в платье длинном, в платье алом. Всё вокруг казалось новью – загляделась, заплутала. Ох, и глупая! Зачем ты в полдень ящерку ловила, да из кос цветную ленту держи-дереву дарила? Вот теперь, пером одета, стала ты удодом-птицей. Всё порхаешь, кличешь лето, всё на месте не сидится. Пьёшь росу, дрожа от жажды, ищешь зёрна понемногу, но зато, взлетев однажды, к дому ты нашла дорогу...

С туркменскими поэтами сблизил меня мой университетский друг Володя Пу, который очутился в «Городе Любви» – Ашхабад переводится как «Город Любви» – потому что, во-первых, у него не было зимнего пальто, а в Туркмении оно не нужно, а во-вторых, начитался Паустовского, захотел увидеть Кара-Бугаз-Гол, о котором тот писал, и помчался в эти края. Он возглавил литературный журнал «Ашхабад» и очень активно проживал среди пустынь и оазисов бывшего парфянского царства: организовывал то форум переводчиков, то международный фестиваль женской поэзии. И там, на этом фестивале, туркменки показали, что они вовсе не бессловесные и покорные овечки с женской половины дома, кото-

рым запрещено сидеть за одним столом с мужчинами, а настоящие потомки легендарных амазонок Прикаспийских степей. У них даже в национальных костюмах много военной символики: головные уборы в виде шлемов с пластинами, закрывающими затылок, а нагрудные украшения повторяют кольчуги. Когда началось обсуждение положения женщин во всём мире, туркменки не на шутку разошлись: они так поносили своих мужей-феодалов, впали в такой гнев, что стало мужей их даже и жалко. Немногочисленные мужчины, попавшие в женское окружение, пытались оправдываться, но были жестоко побиты обличительными речами. Тогда, исчерпав все оправдательные аргументы, мужчины пустили в ход последнее бронебойное оружие:

– Да женщины наши разоряют нас! Это же фурии! Они каждый день требуют новые наряды! То им шёлк подавай, то панбархат! Зарплаты не хватает – хоть воруй!

Но женщины не сдавались и открыли ответный огонь:

– Да вы и воровать-то не умеете, не то что зарабатывать! Нищebroды!

А мне туркменские мужчины понравились. Они щедры и ласковы, и пристают очень вежливо. Как-то прогуливалась я по тенистой улочке Ашхабада, вижу: парни молодые, в джинсах, белых рубашках, на головах обязательные бараньи шапки, сидят на краю арыка, опустив босые ноги в холодную воду. Как я их понимала! Мне тоже хотелось в воду. Парни меня тут же заметили. Ещё бы! Я была в неподобающем наряде: открытом сарафане с обнажёнными плечами, хотя мой друг Володя Пу не советовал мне так ходить, но я его послала на Кудыкину гору:

– В чём хочу, в том и хожу!

Наглая я всё же была! В чужой монастырь со своим уставом влезла. Но я была молода и ветрена, и прохладилась в сарафане-разлетайке, потому что звенела оглушительная жара – уже с утра, и жившая со мной в гостиничном номере эстонка-моржиха весь день сидела в ванне с ледяной водой, а я ведь с юга, к жаре привычная, и потому разгуливала по раскалённому Ашхабаду в сарафане. Вот меня и заметили туркменские парни, и стали вежливо приставать:

– Эй, девушка, а, девушка! Как здоровье родителей? Как твоё здоровье? Может, погуляем вместе?

– Не могу, ребята! Здоровье плохое!

Музыка царя Давида

Всей семьёй ходили мы в старинный храм – он стоит на главной площади Пицунды (это уже в Абхазии), слушать органнй концерт московских музыкантов. Скажу несколько слов об этом храме и легендах, связанных с ним.

По преданию, при византийском императоре Юстиниане I в Пицунде одновременно начали строить храм, посвящённый святой Софии, и водопровод. Зодчий пицундского храма и строитель водопровода поспорили, кто скорее завершит работу. Проигравший должен был броситься вниз с крыши храма. Работа закипела. Водопровод уже был готов, и вода полилась из труб, а храм возведён только до «барабана». Тогда зодчий бросился с этого «барабана» и разбился насмерть. Храм достроил другой архитектор. Легенда мне совсем не нравится, и, думаю, она не до конца рассказана: тут наверняка была замешана женщина, из-за которой и возник этот жестокий спор двух мастеров.

Храм и прилегающая к нему сосновая роща считались священными. В роще когда-то, при мифическом царе Ээте, висела шкура золотого барана. На нём дети царя Афананта, сына бога ветра Эола – Фрик и Гела – бежали от преследования мачехи. Чудесный баран доставил беглецов на землю Колхиды, а царь Ээт принёс животное в жертву великому богу Зевсу. Руно он повесил в сосновой роще, где его охранял неусыпный дракон. Ну а дальше все знают о корабле «Арго», Ясоне, царевне Медее, которая так влюбилась в аргонавта, что выкрала для него золотое руно и бежала вместе с любимым. За нею погнались отец и брат. Брата Медея изрубила на куски, обезумевший от горя отец стал собирать останки своего сына и совсем упустил корабль с Медеей и золотым руном. Женившись на Медее и народив с ней детей, бродяга Ясон бросил жену, нашёл себе новую, которую Медея отравила, подарив ей пропитанное ядом платье. В конце концов, Медея вернулась к дряхлеющему отцу, ухаживала за ним, и он её простил. А Ясон, оставшись в одиночестве, погиб под обломками обветшавшего корабля «Арго», когда прилёг отдохнуть в его тени.

Вполне житейская история, таких теперь пруд пруди – люди мало меняются, хоть и прошли века. Бывают истории и похлеще – их очень любят показывать в разных ток-шоу на TV, и окажись Ясон с Медеей там, то сделали бы непременно тест ДНК их детям и Ясону, чтобы доказать родство, ведь у Медеи были подозрительные отношения с охранником-драконом, на котором она улетела из Коринфа в Колхиду.

В сосновой роще при храме (она и по сей день цела – там городской парк) рос дуб, которому было тысяча лет. Под ним вожди племён давали торжественную клятву перед началом каждого военного похода, а католикосы Абхазии в сопровождении многочисленной свиты должны были посетить Пицунду хотя бы раз в жизни для совершения там различных обрядов, хотя службы в храме не было после его разрушения турками. Потом храм отреставрировали. В советские времена сделали в храме концертный зал.

На концерте было много писателей из нашего Дома творчества и актёров из соседнего с нами Дома творчества кинематографистов, и к ним подходили за автографами. Подошёл и Олег. Глаза его горели восторгом: где бы он ещё увидел их живьём? Небожители!

Правда, иногда писатели разрушали радужный ореол небожителей. Вспыхивали драки – между литераторами Армении и Азербайджана. Это когда начался конфликт в Нагорном Карабахе, когда Горбачёв не мог выговорить слово «Азербайджан» и всех веселил – кроме оскорблённых азербайджанцев. Но тут вставал между драчунами неторопливый, большой калмык Давид Кугультинов – наверняка потомок степных батыров, и гасил распрю. Это был не только прекрасный поэт благородных кровей, но ещё и мудрец, и блестящий оратор с красивым голосом. Я слушала его на одном из съездов писателей в Алма-Ате, когда тоже вспыхнула постыдная ссора между враждующими «инженерами человеческих душ», и тут вышел на трибуну Давид Кугультинов и заговорил. Зал мгновенно затих. Речь его завораживала, как стихи и музыка библейского Давида.

* * *

Талант и храбрость Давида умирляли врагов, а игра его на арфе и пение стихов исцеляли недужных и оживляли павший духом народ. Так рассказывает трагическая история библейских времён, похожая на историю времён сталинских.

которые огненным колесом прошли и по судьбе поэта Давида Кугультинова: в 1931 году дед Давида был раскулачен и сослан в Алтайский край, и только спустя время семья смогла снова вернуться на родину, в Калмыкию; талантливый поэт, отмеченный Фадеевым, Давид Кугультинов воевал против фашистов, за что награждён боевыми орденами, но в мае 1944 года был отозван с фронта, потому что началась массовая депортация калмыков в Сибирь. Вскоре поэт был арестован и осуждён по 58-й статье – очень популярной при Сталине – за стихи в защиту калмыцкого народа, сослан в Норильск, где отсидел 10 лет, работая на лагерном заводе. Но не падал духом. Позже он вспоминал:

«...Там, в Норильске, у меня была хорошая школа. Академик Фёдоровский и геолог Урванцев, когда-то открывшие здешние месторождения, которые разрабатывали ээки, математик Шмидт, старые литературоведы вкладывали в меня свои знания, чтобы сберечь хоть толику их (...) Старый профессор, филолог, редактировавший газету «Эхо Литвы» и бравший интервью у Чемберлена и Сталина, Гитлера и Муссолини, знаток четырнадцати языков, читал мне Гомера по-гречески и в переводе Жуковского, и комментировал текст, как умели это только учёные классической школы. Им некуда было девать свои знания, как теперь некуда девать усвоенное там мне, ибо многое из усвоенного тогда, в ядовитых парах Норильского завода, далеко от поэзии...»

Имя калмыка-поэта Кугультинова окликает имя библейского певца Давида.

* * *

Ах, как играл на арфе юный Давид! Цвели долины и холмы, по которым шёл он за стадами коз и овец и мулов. Коротким цветением радовали нарциссы. Аромат их сквозил в песнях вольного пастуха. И прослышал о нём царь Саул, и призвал к себе. Саул часто впадал в печаль, в мучительную меланхолию, которая одолевала его и становилась опасной болезнью, будто бесы в него вселялись, пузырясь пеной у рта. Тогда, в ослеплении внезапного гнева, мог он метнуть копьё и в слугу, и в сыновей своих, но всегда промахивался, и копьё вонзалось в стену. Никто не мог исцелить Саула. Но когда шуплый, рыжий отрок с голубыми глазами заиграл на арфе и запел – сердце царя разомлело, вернулась к нему прежняя доброта и радость, и он тут же выздоровел, а уж когда Давид ещё и Голиафа одолел, пустив ему из пращи камень в лоб, тут Саул вовсе расщедрился: одарил простого пастуха своими милостями, отдал ему в жёны дочь свою Мелхолу, давно влюблённую в музыку и стихи Давида – они гипнотизировали её:

«...Но хочет Мелхола – Давида. / Бледнее, чем мёртвая; рот её сжат; / В зелёных глазах испугенье; / Сияют одежды, и стройно звенят / Запястья при каждом движении. / Как тайна, как сон, как праматерь Лилит... / Не волей своею она говорит: / «Наверно, с отравой мне дали питьё, / И мой помрачается дух, / Бесстыдство моё! Унижение моё! / Бродяга! Разбойник! Пастух! / Зачем же никто из придворных вельмож, / Увы, на него не похож? / А солнца лучи... а звёзды в ночи... а эта холодная дрожь...»

Так писала Анна Ахматова в своём цикле «Библейские стихи» (1922–1961 гг.), предварив эпиграфом из Первой книги Царств: *«Но Давида полюбила... дочь Саула, Мелхола. Саул думал: отдам её за него, и она будет ему сетью...»* Кроме того, Саул доверил юному зятю командование одним из своих отрядов. Давид стал самым молодым военачальником в истории Израиля. Ах, если бы благодар-

ность и справедливость Саула двигали им всегда! Но бесы вернулись, бесы терзали душу несчастного царя, одержимого подозрительностью. Вскоре и Давид впал в немилость, как многие пострадавшие от царской мании преследования. Стал Саул охотиться за рыжей головой певца и успешного полководца. Саул сходил с ума от подозрений, зависти к таланту Давида и его популярности среди народа, а зависть порождала жажду мести, мучил и страх потерять власть, и всюду мерещилась измена, и ужас ночных видений лишал сна, и царь усиливала террор. Такова судьба всех властителей, на которых кровь. «*Мальчики кровавые в глазах...*» были и у Ивана Грозного, и у Бориса Годунова, и у Сталина. Давид, много раз преданный и оклеветанный Саулом, оставался благородным, искал мира и не убил гонителя своего исподтишка – в пещере, где тот молился, и когда спал в своём шатре. Саул погиб, как подобает воину: окружённый врагом, он бросился грудью на меч. Давид, потрясённый его гибелью, оплакал песней и Саула, и сына Саулова – Ионафана, который был Давиду другом и не разделял безумств отца, но встал рядом с ним в бою, защищая родные пределы, как делал это и Давид:

«Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! / Как пали сильные!.. / Горы Галилейские! / Да не сойдёт ни роса, ни дождь на вас, / И да не будет на вас покой с плодами, / Ибо там повергли щит сильных, щит Саула... / Дочери израильские! / Плачьте о Сауле, / Который одевал вас в багряницу с украшениями / И доставлял на одежды ваши золотые уборы. / Как пали сильные на брани! / Сражён Ионафан на высотах твоих. / Скорблю о тебе, брат мой Ионафан. / Ты был очень дорог мне. / Любовь твоя была для меня превыше любви женской! / Как пали сильные, погибло оружие бранное!..»

Младшая жена

Много мы с Олегом путешествовали, а потом его не стало. Он тяжело умирал от рака почти год, и я неотлучно находилась подле него, умирая вместе с ним и не в силах ему помочь. Сестра Олега обвиняла меня в его болезни: «Зачем ты возила его в Семипалатинск, зачем вы там жили? Он там, там облучился!» Я и без неё чувствовала себя виноватой, потому что не могла спасти. Некоторые лукавые подруги говорили мне: «Сдай его в хоспис! Тебе надо творчеством заниматься, книги писать, а ты горшки выносишь. Отдай!» Мне эти советы казались дикими, и я выгнала подруг. Держала Олега за руку, не отпускала: «Только не умирай! Только живи!» Варила ему снадобья из десяти трав, делала лекарство из горького сока осины – знающие люди сказали, что помогает; привозила с родника серебряную воду, тренировала его память. Мы читали наизусть его любимого Пастернака. Одно стихотворение – «Гамлет» он повторял чаще других. Олег не знал молитв, и эти строки были его последней молитвой:

«Зал затих. Я вышел на подмости. / Прислонясь к дверному косяку, / Я ловлю в далёком отголоске, / Что случится на моём веку. / На меня наставлен сумрак ночи / Тысячью биноклей на оси. / Если только можно, авва отче, / Чашу эту мимо пронеси. / Я люблю твой замысел упрямый / И играть согласен эту роль. / Но сейчас идёт другая драма, / И на этот раз меня уволь. / Но продуман распорядок действий / И неотвратим конец пути. / Я один, всё тонет в фарисействе. / Жизнь прожить – не поле перейти...»

Когда он после укола впадал в короткий сон, кидалась к письменному столу: надо было редактировать просторовские рукописи – отрабатывать зарплату, кроме того, я переводила Мукагали Макаатаева – для гонорара (лекарства стоили дорого), а получилось – для души. Великая поэзия казахского поэта спасла меня в тот скорбный год. Мукагали и потом помогал мне, словно благодарил за любовь к нему.

18 февраля 1990 года Олега не стало. В ночь его ухода я слышала над ним небесный хорал: трагическое гудение мужских голосов и ангельское пение детей. Это была завораживающая, потусторонняя музыка, которая вызвала рыдания – весь год, пока я боролась за жизнь Олега, я не плакала, а тут – рыдала в голос. После слёз разлились во мне благодать и покой. И Олег лежал спокойный, с чистым лицом и лёгкой улыбкой на остывающих губах. Он был счастлив.

После его ухода я долго приходила в себя, но надо было возвращаться к жизни. И вот, отметив годовщину, в холодный февральский день поехала я с писательской бригадой в Нарынкол, на юбилей Мукагали. Остановились на снежном перевале, где любил останавливаться поэт, когда из столицы приезжал в родной аул Карасаз. Стоял среди гор, распахнув пальто, чтобы выдуло из души, как он говорил, всю скверну и хворь, чтобы наполнилась грудь чистым воздухом горных вершин.

После вечера поэзии, встреч с земляками поэта был устроен щедрый той. Рядом со мной посадили заслуженного чабана, в стёганой безрукавке и с плёткой за голенищем мягкого сапога. Крепкий ещё старик, с молодыми глазами. Мы разговорились, чабан оказался весёлым и неглупым человеком, стихи Мукагали знал наизусть, и читал мне то и дело, орлом поглядывая на меня:

«Как полуденный мыс углубляется в небо морское, / Подойди ко мне, милая, – сладок волос аромат. / Только запах волос я вдохну – дуновение зноя, / Я не трону тебя, подойти же, с косами до пят. / О, во тьме твоих кос, в чёрной чаще скрывается лето, / И вдоль узкой спины не стихает волнение кос. / Это запах земли и сияние дождика это, / И цветение трав истекает от пряных волос. / Перекинешь косу на плечо – и пахнет сенокосом, / Хлебным духом зерна, и тандыром, и свежестью гор. / Он дорожке духов, этот запах, и простоволосой, / Я люблюю тебя тобой, и туманится нежностью взор...»

Ему передали домбру, он ударил по струнам и запел сильным, звучным голосом – под восторженные крики односельчан. И это были снова стихи Мукагали, и снова о любви:

«Ты моя – бережёт тебя темень зрачка. / Ты ведь знаешь, бездонен зрачок, как река. / И меня береги, пусть моё отражение / Не затмит, не закроет чужая рука. / Ты моя – дышит грудь моя только тобой. / Ты ведь знаешь, уступит ей в силе любой. / И меня в своём сердце запрячь, как в зиндане, / Чтоб кокпар не кружил надо мною гурьбой. / Ты моя – ты мой голос, ты в горле моём. / Мой язык не сфальшивит нигде и ни в чём – / Ты ведь знаешь! Вплети и меня в своё слово, / Чтобы песню мою не забило бильём...»

Чабан оказался виртуозом и окончательно покорила меня, я даже расцеловала его в обе щеки. Ободренный успехом, он расправил усы и говорит:

– Слыхал я, ты вдова. Что ж тебе, такой молодой, одной-то жить? Нехорошо. Выходи за меня – не пожалеешь, я ещё в силе. У меня табун лошадей есть, летом кумыс, юрта большая. Прямо в горах поставим – рядом с Хан-Тенгри. У нас тут, знаешь, какая красота летом! Стихи сами поются. Вместе петь будем! Младшей женой мне будешь.

Перспектива, конечно, заманчивая, но пришлось отказаться, тем более что для младшей жены я была уже старовата – мне стукнуло сорок три года, однако мужское внимание взбудрило, а то ведь я на себе уже крест поставила.

Эх, кто же теперь вместо меня ходит в младших жёнах? Кто любитесь рождением солнцеликого бога Тенгри над величественными отрогами гор? Это магические, священные для кочевников горы. У подножия их, в живописных долинах витает воздух Поэзии.

МИРАБО

Потомок шейхов и баронов

Когда стужалась ночь и всходила луна над зелёными холмами, я распускала волосы, и мы с Мирабо шли проверять реку. Никакого отношения к французскому революционеру мой Мирабо не имел. Просто он работал мирабом в дачном кооперативе, и я его в шутку звала Мирабо, а так-то он Игорь. Игорь Бек-Софиев. Из древнего рода суфиев – отсюда и фамилия. Мавзолей его предка находится в Иране и почитается так же, как священный камень Кааба в Мекке. К мавзолею до сих пор стекаются паломники. Но всё же без Франции тут не обошлось. Мирабо родился в Париже, в семье русских дворян-эмигрантов, бежавших из России в гражданскую войну. Его дед, Борис Бек-Софиев, кадровый военный, герой русско-японской войны, был на стороне Белой армии, дружил с Деникиным, имел за боевые заслуги Георгиевский крест и звание генерала, но от звания отказался: «Я не могу принять его за войну с моим народом!». Войну эту он считал позором, и вынужденное бегство – тоже позором. Ушёл вместе со старшим сыном Юрием. Юрий был совсем юным, но успел получить военное образование и уже участвовал в боевых действиях. Вот отец и вовлёк его в Белое движение, чего не мог себе простить, как и того, что оставил семью в красной России, спешно уплывая из Севастополя в Галиполи с остатками армии Врангеля. Жене его и среднему сыну Льву пришлось спасаться от ЧК, после того как был арестован младший – Максимилиан. Он был красноармейцем, но это ему не помогло. Его благородное происхождение, отец и брат, бежавшие за границу – всё стало для него приговором. Приговор такой был вынесен и Льву, и его матери, но добрые люди предупредили их, что скоро за ними придут, и мать с сыном бежали в Крым. Там Лев устроился в Никитский ботанический сад, но началась война. С отступающими немецкими частями Бек-Софиевы ушли в Германию – их насильственно угнали. В Германии Лев, как учёный-биолог, работал в химической лаборатории. В 1945 году их разыскал Юрий, семья воссоединилась, встретившись в Париже, а Максимилиан, в этом же 1945 году, погиб в Магадане.

На чужбине эмигранты перебивались чёрной работой. Георгиевский кавалер умер от туберкулёза, так и не дождавшись возвращения домой, в Старую Руссу, о чём мечтал все годы скитаний, не принимая чужое гражданство: Турция, Югославия, Франция...

Мирабо родился в Париже и родины никогда не видел. Он стал французом. Учился в Сорбонне, но не доучился, потому что рано женился на прекрасной и чувственной Нимфе, на четыре года старше Мирабо, но это было незаметно. Нимфа тоже была эмигранткой, из артистической среды. Прелести плотской

любви познала она в двенадцать лет – в Швейцарских Альпах. Её соблазнил доктор детского санатория, куда Нимфу отправили на лечение: она кашляла. Зато, говорила она, он ей обеспечил хорошее питание: сливочное масло, шоколад, фрукты. Уверял: интимная близость с ним тоже необходима здоровью. Сколько было потом мужчин – не помнит. Так что любовный опыт был у неё богатый, и ей ничего не стоило вскружить голову девятнадцатилетнему отроку, тем более что хорошим мальчикам часто нравятся дрянные девчонки. Как говорил Мирабо – с «червоточинкой». У Нимфы «червоточинок» было хоть отбавляй! Через год после бурного романа она предъявила ему сына. От Мирабо он был или нет – неизвестно, но Мирабо принял его, как своего. У Нимфы имелся ещё один сын – от немецкого офицера, который взял её вместе с Парижем, была и слепнувшая мать, так что Мирабо пришлось оставить Сорбонну и идти на завод простым рабочим, чтобы кормить неожиданную свою большую семью. О заводе он вспоминал, что вставал на работу в пять утра и что на обед всем рабочим давали вино: оно там дешёвое – дешевле воды. Хитрая Нимфа не только окрутила парня, но и склонила к венчанию, и они венчались.

В середине пятидесятых, после смерти Сталина, семья наконец-то вернулась на родину, уже не опасаясь быть сосланными в тундру, как это случилось с теми, кто поехал раньше – в тридцатые годы, или сразу после войны. Семья Софиевых советские паспорта получила в 1948-м, но русский посол в Париже Богомолов осторожно намекнул им, что сейчас ехать не стоит, лучше повременить. И вот Сталин приказал долго жить, и семья двинулась в Россию: сам Мирабо с женой и детьми, отец моего Мирабо, известный поэт русского зарубежья Юрий Бек-Софиев, и дед по матери, Николай Николаевич Кнорринг – педагог, музыкант и в прошлом статский советник. Мать Игоря, Ирина Кнорринг, тоже поэтесса, смолоду тяжело болела диабетом и умерла холодной зимой 1943 года в оккупированном немцами Париже. Они оставили её на кладбище Иври (потом прах будет перенесён на другое кладбище: Сент-Женевьев-де Буа, которое активно заселялось выходцами из России). Брату Юрия Борисовича, Льву, въезд в СССР был запрещён: он всё ещё находился на заметке КГБ, его не реабилитировали, и Лев остался на чужбине – уже навсегда, вместе с женой, эмигранткой из Эстонии Марией-Луизой, которая работала в ЮНЕСКО, в Швейцарии, и они жили на два дома: в Женеве и под Парижем, где построили особняк. Лев писал брату, что у них с Машей в общей сложности семнадцать комнат, которые они убирают сами – слуг у них нет. Поскольку Лев был биологом и увлекался садовым дизайном, то разбил в своей французской усадьбе великолепный сад, где посадил и пару берёз – тосковал по России, куда путь ему был закрыт. А ещё он коллекционировал бабочек и на этой почве сблизился с писателем Владимиром Набоковым, который тоже увлекался бабочками.

Матери Мирабо лишился в тринадцать лет. Это всё же очень рано. У меня первая трагическая потеря случилась, когда мне было 16, и я считалась взрослой: ушла из жизни моя бабушка Пелагея. Тихо уснула, никого не побеспокоив. Так же и жила, как бы стесняясь обременять собою близких:

– Ничё, ничё, я туточки притулюся, у краю...

Мирабо успел проститься с матерью. Она нежно провела пальцем по его лицу и остановилась на кончике носа, будто точку поставила. На похоронах было мало народу. Антифашистские газеты закрылись, и о похоронах негде было разместить

извещение, а с профашистскими газетами русские эмигранты не хотели иметь дела. Мать Мария – поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева, которой когда-то Блок посвятил стихи: «Она пришла с мороза, раскрасневшаяся...», теперь в чёрном монашеском облачении, с белой полоской платка на лбу, погладила плачущего Мирабо грубоватой, тяжёлой ладонью, он прижался к ней. Ветер выл по-волчьи, вышибал слёзы и у взрослых, которые крепились. Молчаливый ворон сел на соседнее дерево. Ждал, когда все уйдут, чтобы перелететь на свежий крест и начать свою, птичью панихиду.

Остались от матери фотографии – одна всё время стояла в изголовье его кровати, и синяя тетрадь: «Стихи о тебе и для тебя»:

«Жизнь прошла, отошла, отиумела, / Всё куда-то напрасно спеша. / Безнадёжно измучено тело / И совсем поседела душа. / Большие нет ни желанья, ни силы... / Значит – кончено всё. Ну – и что ж? – / А когда-нибудь, мальчик мой милый, / Ты стихи мои все перечтёшь. / После радости и катастрофы – / После гибели – после всего – / Весь мой опыт – в беспомощных строфах. / Я тебе завещаю его...»

Он выполнил завещание матери – собрал и напечатал её стихи, а также дневники «Повесть из собственной жизни». Последняя книга – «Золотые миры», избранное Ирины Кнорринг, была издана недавно, в 2014 году, мной – теперь уже по завещанию Мирабо, и переиздана в 2019 году на её родине, в Самаре (на деньги горадминистрации) поклонниками её поэзии. Низкий им поклон!

Воспитывали Мирабо старики Кнорринги, потому что отец сначала был угнан в Германию на принудительные работы на химическом заводе, а вернувшись в 1945 году в Париж, был вовлечён в круговорот молодой жизни, и на сына у него времени почти не оставалось. Работа за гроши – он мыл окна больших магазинов – творчество, дружеские пирушки на Монпарнасе, летучие романы. После двух войн и смертельных потерь жить хотелось неукротимо.

История двух семей – Кноррингов и Бек-Софиевых – настолько причудлива и насыщена такими историческими событиями, что хватит на несколько книг. Скажу только, что Мирабо вёл своё родословие от многих народов: от русских (родство с прославленным русским генералом Скобелевым, а также с крепостной крестьянкой), от казаков (по кошевому Запорожской сечи Родиону, за бунт сосланному Екатериной II на Соловки), от татар (его прабабушка Мекалина Якубовская – татарская княжна из Золотой орды, чей предок перешёл на службу к польско-литовскому князю), от немцев и шведов (по переселенцам в Россию во времена Екатерины II – их колонии обосновывались по Волге, именные Кноррингов как раз находилось недалеко от Самары, в деревне Елшанка), от лезгин и каких-то народов Азербайджана и Дагестана: его предок Кули-Бек-Софиев-оглы был седьмым наибом у Шамиля – ведал торговлей, и малолетнего сына наиба по имени Искандер во время Кавказской войны русские взяли в аманаты (заложники), воспитали, выучили в Пажеском корпусе – тогда довольно престижном учебном заведении. Бывший пленник стал русским генералом, но исповедовал ислам – ему никто не мешал в выборе веры. Так же поступил с пленённым мальчиком Пётр I: маленького чёрного принца из Эфиопии он воспитал, как родного сына, дал прекрасное образование в Европе. Арап Петра Великого – Пётр Ганнибал тоже стал генералом, как Искандер Бек-Софиев. Ганнибал подарил России гениального поэта Пушкина. Бек-Софиев – тоже подарил России поэта, не такого, конечно,

гениального, как Пушкин, но довольно известного в русском зарубежье 20–40-х годов прошлого века. И поэт этот стал отцом моего Мирабо. В жилах отца и сына Бек-Софиевых текла даже английская кровь, восходящая к королевскому двору. Но все крови пересилила – русская. Мирабо был истинно русским человеком, воспитанным на русской культуре.

Я вот подумала: как бы Россию не онемечивали (ею правили цари и царицы из немцев, плохо говорящие по-русски), как бы не офранцузивали (в XIX веке всё дворянство общалось по-французски, детей воспитывали французские гувернёры), а никто не смог сделать русских немцами или французами. Напротив, немцы и французы стали русскими. А вот татары отатарили. Может быть, потому, что русские давно уже впитали в себя Азию – и ту, кочевую, что за Уральскими горами, и крымско-кавказский Восток. Всех мы называли татарами. *«Поскреби русского и найдёшь татарина»*, – говорил Достоевский. *«Да, скифы мы, да, азиаты мы!..»* – писал А. Блок. – *«Мильоны вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы...»* Разве Запад когда-нибудь одолеет эти «тьмы», растворит в себе? Вот и мой Мирабо – он был русским человеком, как и его мать – из немцев да шведов, как и его отец – из татар да кавказцев. Восток они – приняли, Запад – нет, хоть Мирабо родился там и прожил там двадцать пять лет, а его родители и того больше. Брат Ю. Бек-Софиева, Лев, писал из Франции в Алма-Ату: *«Двадцать лет, прожитых здесь, за жизнь не считаю. Жизнь только там – в России...»*

Лунная горка

К моменту нашего знакомства никого из семьи уже не было в живых, да и самому Мирабо стукнуло шестьдесят четыре года. Он пережил несколько браков: одна жена от него сбежала, вторую он сам бросил, а третья – Эгле – умерла. Дети были рассеяны по свету. Жил с ним только младший сын – Ярик.

Как Мирабо очутился в дачном кооперативе – отдельная история, скажу только, что на родине его французский был не нужен. Пришлось Мирабо осваивать «солёный» русский, чтобы общаться с дачными слесарями. Мирабо стеснялся разговаривать с ними при мне и всякий раз просил отойти в сторонку. Я видела, как слесари сначала артачились, продолжали перекур, а он жестикулировал и говорил им, видимо, эти самые «солёные» словечки, после чего они быстро смирились, кивали головой и приступали к работе: мол, сказал бы сразу по-человечески, а то рассусоливаешь тут!

Каждую ночь Мирабо делал обход разным задвижкам и водораспределительным точкам. Река гремела в темноте, а дачи стояли тихие, белые, в глубине своих, клубящихся чёрной зеленью, садов. Огромная горячая луна выкатывалась из-за синих, хорошо очерченных гор, и стояла над нами. Лёгкие облака бежали по её лицу, а она отодвигала их от себя, отодвигала, как и я – свои распущенные волосы, которые мешали мне, но Мирабо нравилось, когда я их распускала. И я делала, как он хотел, хоть и стеснялась. А он хотел проводить по ним ладонью и говорить, какая я красивая, ночью, под луной, с распущенными длинными волосами – совсем, совсем молодая... Я усмехалась про себя: какая тут молодая? Мне сорок шесть лет, ему – шестьдесят четыре. Для наших взрослых сыновей – глубокие старики. Им смешна была наша влюблённость. Они слегка презирали нас, но смирились с нашим чудачеством, ну, и рады были, наверно,

что сбагрили нас. Кому хочется возиться со стариками, когда собственная жизнь захлёстывает?

Дачи спали, освещённые только светом луны. Чёрная трава под ногами была мягкая, искрилась светляками. Рослый рыжий пёс Мартик (он родился в марте) молча бежал впереди, сильно не удаляясь, но когда Мирабо думал взять его на поводок, немедленно уносился в заросли лопухов. Он легко читал мысли хозяина. Всякий раз, чтобы поймать его, приходилось открывать настоящую охоту – с погонями и засадами. Это Мартик понимал и уважал, и потому, победив в честном бою, сдавался добровольно.

Река шумела и бурлила в темноте. Она стекала с гор, подмывая зелёные холмы, и даже в нестерпимую жару оставалась ледяной, не прогреваясь и на поверхности. И очень сильной была река – по берегам громоздились огромные каменные глыбы, которые она притаскивала с гор и бросала где попало. Днём на них грелись ящерицы. Но теперь была ночь. Когда выходила из-за облаков луна, камни взблескивали слюдой.

Мы вернулись на «Лунную горку» возле дома – там проходила роза ветров, и мы тотчас почувствовали свежий поток воздуха, чистое дыхание цветущих альпийских лугов. Мы взялись за руки и замерли. Мартик замер тоже. Он поднял морду, он ловил большими ноздрями живой воздух, текущий с гор по холмам. Это было самое сокровенное мгновение нашей ночи.

Мирабо хотел, чтобы всё было, как при Эгле. Эта «Лунная горка» осталась из её жизни, которая оборвалась год назад. Мирабо печально вздыхал. Всё было не как при Эгле, всё было по-другому, потому что рядом с ним другая женщина, с распущенными волосами, каких никогда не было у Эгле, с другим голосом и другими повадками, не похожими на повадки Эгле. Всё другое.

Мне было неприятно, что он сравнивает, хоть и понимала эти неизбежные сравнения, но всё равно... И я первая уходила с «Лунной горки». Мирабо ещё стоял какое-то время там, печально вздыхая, и Мартик терпеливо ждал его. Мартик тоже скучал без Эгле. Мне уже было и нестерпимо жаль их: броситься бы, обнять, но я не хотела мешать чужой печали. У меня была своя. Печаль ведь ни с кем нельзя разделить. Её просто надо пережить, перетерпеть в полном одиночестве, пока она не истает, не превратится в поэтическую дымку, в память, потому что прошлое всегда так прекрасно. Помнить уже не так больно.

Потом мы с Мирабо сидели в ночном саду. Он – с трубкой, которую тщательно набивал табаком, а я – попивая чай с душицей.

Сад был запущенный, в горбатых остатках теплиц, заросший травой-липушкой, шиповником, густой вишней, перевит хмелем и мышинным горошком. Лозы девичьего винограда, душившие деревья, напоминали змей, опутавших кольцами Лаокоона.

Иногда в темноте, мимо нашего дома, пробегали на промысел полевые крысы. Мартик рычал на них, но зверьки его не боялись и быстро шмыгали под сарай. На половине Ярика, в сенях стояла бочка с какой-то чёрной гадостью, которая считалась ловушкой для крыс, но туда то и дело попадал пьяный Ярик, а крысы ловко обходили ловушку.

В саду протекала своя, ночная жизнь. Ухал филин, а то кричал как кошка. Звенели утомлённой кровью сверчки. Ближе к полуночи, по сигналу невидимого дирижёра, любили внезапно грянуть соловьи и не умолкали уже до утра, а к утру заливались певчие дрозды, прилетавшие с зелёных холмов.

Жизнь не замирала ни на секунду. И даже в полдень, в самое обморочное время июньского зноя, не было тишины. У плетёного забора, в раскалённой траве разгоравшимся пламенем трещали цикады, сухо щёлкая и стрекоча. В ближнем болотце тьякали по-собачьи лягушки. Иногда они попадали в сад, сидели на дорожках, отдуваясь и пуча золотые глаза.

Мухи, пчёлы, мужиковатые шмели гудели над поникшими, отяжелевшими от мёда цветами. А когда они замолкали, было слышно трепетание крыл пёстрых бабочек и тонких в талии стрекоз. Тогда я глядела на сад сквозь прозрачное стрекозиное крылышко, и он казался мне волшебным, как бывало только в детстве.

Но теперь – ночь. Цветы сомкнули ресницы – стрелчатые, округлые, звездокрылые. Они спят. И струится из сада их ароматное дыхание. И мы слышим его.

– Знаешь, – говорит Мирабо, – какой была Эгле?

– Какой?

– Она была необыкновенной... У нас одно время ужик жил, так она кормила его молоком. Он стал совсем ручным, плясал перед ней, хвостом крутил. И говорящая ворона жила. Эгле ей вылечила лапу – наши коты ей повредили. Отбила у них. Так ворона эта беседовала с Эгле, важно так выговаривала: «Эгле! Эгле!» Клекотала, как орёл. А уж собак у нас перебывало, кошек! И не сосчитать. Где кто найдёт брошенную животину – к нам несут. Всем имена Эгле сама давала и всех помнила. Петушок ещё был, Петька. Заполосный! Ночь-полночь, он орёт. И что вот орёт, спрашивается? Эгле объясняет ему: «Ночь ещё, дурашка, спи давай!» А он трётся головкой об её плечо, вхохчет, даже глаза закатит от счастья, так любил её. А как не стало нашей Эгле, плакал. Ни разу не видел, чтобы птицы плакали. А Петька настоящими слезами плакал...

– И где же он теперь?

– Где? Соседи изловили да съели. Они же пьют, вечно шалман у них, а тут закуска бесплатная... Съели Петьку...

Мне было жаль Петьку, жаль и Мирабо. В то лето я буквально изнемогала от жалости ко всем, а Мирабо, забываясь, звал меня Эгле. Я не обижалась. Пройдёт, думала я, всё проходит...

Если бы Мирабо тогда спросил меня, люблю ли я его, то мне было бы трудно ответить. Я жалела его, хотела быть с ним, но мне казалось, это не похоже на любовь. Это что-то другое, а что – неизвестно. Но задумываться особо не хотелось, потому что жизнь с Мирабо поглощала меня целиком, в ней было столько нового – не до раздумий, хотя об Эгле я никогда не забывала. Тень её незримо следовала за мной, стояла за моей спиной, склонялась к Мирабо, когда он сидел в саду с трубочкой – и я ревновала, глядя на них из зарослей буйно разросшейся сирени. Но ревность моя не была такой болезненной и жгучей, как к моему мужу Олегу, которого я потеряла четыре года назад. Я буквально изводила его ревностью все 24 года, что мы прожили вместе. А тут, с Мирабо, была просто скоротечная детская обида. Такая же – и к дачной соседке Лирке, шумной толстухе, которая торговала в городе на цветочном рынке и раньше была с Эгле в подружках. Теперь Лирка забирала на продажу цветы у Мирабо и вечером приносила выручку. Толстуха вкатывалась к нам на дачу, обнимала Мирабо, целовала прямо в губы, безо всякого-якова наливала себе чай, хватала с тарелки мои пироги, жадно поедала, чавкая, хохотала, жестикулировала, снова целовала Мирабо, и тогда тень Эгле

была на стороне Лирки, а на меня поглядывала с мстительным торжеством, и я опускала голову, я стыдилась, что живая, что Мирабо со мной, и в то же время горделиво думала: «Мирабо со мной!»

...Ты когда-то была красивой – красивой меня, и такой своевольной и дерзкой, что сравнений нет. И тебя полюбил царевич, а все думали – шут. Он любил тебя долго-долго – целых двадцать лет. Но когда ты легла в могилу – в жёны взял меня. По ночам твоё имя помнил – а потом забыл. Моё имя забудут тоже – так задуман свет. Мы живём на краю обрыва, на краю самых мрачных бездн, потому так любовь желанна и горька до слёз...

* * *

Мирабо отличался особым мужским шармом, который трудно определить словами: это была изысканная простота. Даже в замызганных дачных штанах и мятой клетчатой рубашке выглядел он породистым, сильно отличаясь от наших советских интеллигентов в нулевом поколении. Эти, красивой лепки, изящные руки – их не портила постоянная работа на земле. Это узкое, благородное лицо. Оно светилось добротой, расположением к любому человеку, озарялось детскими голубыми глазами, и потому совсем некстати завершала его облик неожиданная стариковская борода. Если бы он её сбрил, то выглядел бы моложе, но ему лень было бриться.

Мирабо был простодушен. Зачем-то сразу рассказал мне обо всех своих женщинах, что были до Эгле и меня. И меня заставил рассказать о моих романах (моих романов оказалось больше, но мы не считались). Открыла я ему и свою тайну о Мираже, и это было моей роковой ошибкой. «Не буди лихо, пока тихо!» Мирабо стал меня ревновать. Я же не ревновала его к прошлой жизни и слушала рассказы о влюблённостях, как увлекательные литературные сюжеты. Особенно помнил он первую свою любовь, горячую испанку. На щеке у него белел шрам от её укуса.

– Страстная была, огонь! – заблестели его голубые глазки. – Кожа у неё атласная, белая, а как вспыхнет – смуглая делалась. Как это у неё получалось – не знаю. Кровей много намешано.

– И как её звали?

– Соллис.

– Красивое имя.

– Правда же, в имени её слышится солнце? Она и похожа была на солнце.

Соллис!

– Откуда она?

– С Корсики.

– Как Наполеон?

– Как Наполеон!

– Ты любил её?

– А как же, любил. Ещё как любил! Когда бросила, чуть не умер. Писал всюду, как сумасшедший: «Соллис! Соллис! Соллис!» В тетрадках, на песке, на воде фонтанов, в воздухе по ночам. Она сделалась моим наваждением. Соллис...

– Эгле знала о Соллис?

– Нет. Я ей ни разу не говорил. Эгле ревнивая, могла бы и убить. Вон, однажды в гневе разбила тарелку о голову Ярика. Но всё равно, Эгле замечательная!

И он рассказывал об Эгле. Так я узнала о ней почти всё.

Эгле

Эгле попала сюда из Прибалтики. Раскованная, экстравагантная для Азии, она любила эпатаж и выкрутасы. Природное имя своё Людмила переделала в Эгле, что по-латышски значит Ёлка. Колючая!

Выросла Эгле на больших деньгах, в семье руководителя всесоюзного масштаба. Грубый, неотесанный, мало образованный, но смекалистый и хваткий выходец из народа, отец её кочевал вместе с домочадцами по всему Союзу, куда направляла его партия. Руками эзков поднимал всенародные стройки, рыл каналы, сажал кукурузу. Дома бывал редко, и мать буквально выбивалась из сил с неуправляемой Эгле. Сын Генри был послушный, целеустремлённый, хорошо учился, а Эгле пропускала школу, читала плохие книги и сама писала какие-то стихи, красила губы, загуливала с матросами, курила, пробовала вино, кроме того, любила независимость и по любому вопросу имела собственное мнение. Это было страшнее всего. Отчаявшись вразумить дочь, мать настроила на неё донос в КГБ, где сообщала, что Эгле порочит облик советской комсомолки, и просила принять меры – то есть вызвать на беседу. Письмо она, видимо, не послала, потому что Эгле его нашла, а может, мать хотела, чтобы нашла. Эгле была оскорблена смертельно и с матерью перестала разговаривать. Потом кое-как помирились, но обиду свою и презрение к поступку матери Эгле никогда не забывала, и Мирабо разделял с Эгле её непримиримость.

Эгле мучили не только семейные порядки, но и порядки в стране. Она не выносила любое насилие над собой, любое враньё. Она бунтовала. Несколько раз выходила замуж. Одним из её мужей был поэт, гуляка и пьяница Иван Марьета. Поэты написали шуточный стишок о них: *«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Людмиле и Марьете»*. А потом появился Мирабо.

* * *

Каждое лето Мирабо вместе с учёными Института зоологии отправлялся в экспедиции: Институт набирал сезонных рабочих. Мирабо нанимался на сезон. Как-то даже ездил с известным археологом Аланом Медоевым, который открыл наскальные рисунки танцующих солнцеголовых человечков. В то лето, как познакомился с Эгле, Мирабо снова поехал с зоологами, и они – по просьбе Мирабо – решили взять ещё и повара. Эгле.

С Эгле Мирабо познакомился случайно – она сидела на скамейке в городском сквере и в блокнотик записывала стихи. Он подсел к ней. Она ему тут же прочитала:

«Нет! Нет, ещё лето звенит / Пчёлами и кузнечиками! / Опрокинута в зенит / Земля с речками, / С рыбами медленными, сонными! / С подсолнухами! / У меня голова кружится / от пчёл, от мёда. / Облака – лёгкое кружево / – отражается в вёдрах, / в ключевой воде сладкой, / в колодцах, в кадках. / Ах! Как много звёзд по ночам / – тучных, низких! / Звёзды о землю стучат / за садами, близко. / Перекатываются по бахче дынной! / Перепутываются с травой длинной!.. / Я разламываю арбуз: / снегом пахнет корка. / Да здравствуй, Август! / Сентябрь – не скоро...»

Она явно подражала блаженной Ксении Некрасовой, а также поэтам-шестидесятникам, которые бравовали ассоциативной рифмой, неровным, нервным слогом, как писал Маяковский, предлагавший сбросить Пушкина, а также всё

классическое наследие, с пьедестала современности, и писать по-новому. Мирабо видел угловатость её стихов, но отмечал и свежесть, и яркость красок, и просил читать ещё. Сын двух поэтов, он любил стихи и – поэтесс. Она читала, а там и рассказала о себе – Мирабо умел выманивать исповеди. Оказалось, её выгнали из дома за плохое поведение, и вот теперь она живёт в этом сквере. В большой кирзовой сумке у неё были две тоненьких книжки её стихов, бутылка вина, недоеденный арбуз и белый котёнок.

Вот как о ней писала подруга юности, тоже поэт и будущий профессор филологии Тамара Мадзигон:

*«Пусть ей живётся очень грустно. / Пусть негде спать, / Пусть ест невкусно,
/ Пусть ночью некого обнять, / Но ей живой огонь искусства / Дал силу жизнь
и смерть разъять, / И отделить мечты о славе / И твердь обыденных трудов,
/ Любовь, подобную забаве, / И настоящую любовь, / Горенье дня, свеченье ночи
/ И тишину над полем трав... / Пусть жизнь её других короче, / И люди, стих её
украет, / Над ней смеются что есть мочи, / Она права. А мир неправ!»*

Мирабо только что разошёлся с очередной женой – промежуточной, как он говорил, – и тоже неприкаянно бродил по городу. Через два дня должен был ехать в экспедицию и предложил Эгле ехать с ним. Эгле была свободна как никогда, и потому легко согласилась. Пристроили котёнка к друзьям, закинули кирзовую сумку в кузов машины и покатали.

Ехали на грохочущем грузовике по выжженной Степи. Пыль закрывала скудные пейзажи. За машиной увязывались ажурные шары перекаати-поля. Низко висели рыжие коршуны, хотя ни одной живой души нигде не было: все попрятались в норы, зарылись в песок. Но иногда, между глиняными мазарами, вспыхнувшей спичкой мелькала степная лисичка.

Машина остановилась: перегрелся мотор. Все радостно вывалились из кузова, потянулись к фляжкам с водой. Там был кипяток. Вдруг поднялся ветер, завыл среди оплывших могил, заплакал, как живой. И стали свиваться, свиваться маленькие песчаные смерчи. Они походили на пляшущих человечков, или уж это потревоженные души умерших восстали из своих могил? Побежали, побежали по раскалённым барханам человеческие силуэты праха. Жутко стало. И когда шофёр завёл, наконец, машину, все дружно стали запрыгивать в кузов, и только Эгле хохотала и бегала вокруг мазаров, догоняя перепуганного лисёнка. Она где-то отыскала колючие цветы среди этого пекла и несла растопыренный букет. Она пропахла полынной горьковатой свежестью, степным ветром, морской солью. Здесь ведь раньше плескалось море, и барханы повторяли очертания высоких волн.

Эгле была великолепна в своём открытом сарафане, босоногая и за три часа дороги загоревшая до блеска. В её растрёпанных волосах застряла золотая соломинка, как луч солнца. И с этим лучом в тёмной мгле своей роскошной гривы она казалась сошедшей с небес. Мирабо уже был влюблён в неё без памяти, и она глядела на него горящими глазами – всё же француз! Ей нравилось всё диковинное.

Машину подбрасывало на ухабах, они валились в объятия друг друга, и тогда зоологи смущённо отворачивались, шумно обсуждая какую-нибудь мелькнувшую в песках ящерку. А Эгле хохотала, закрывшись букетом, а Мирабо целовал её. И зоологи против воли подглядывали за ними.

Присутствие чужой женщины возбуждало всех. Как тетерева на токовище, они распускали свои «хвосты»: кто-то сыпал шутками, кто-то прямо из дрожащего

марева доставал летучую тварь, родом из неолита, кто-то показывал фокусы. Эгле всё принимала с лёгким кокетством, и хохотала, хохотала.

А машина катила себе через раскалённую Степь, ещё больше раскаляясь от любовного возбуждения.

Жизнь потекла замечательно. Эгле и Мирабо сразу стали жить в одной палатке, семьёй. Зоологи, и Мирабо с ними, уходили в Степь, к далёким скалам. Там они нашли древние петроглифы, а также много вросших в камень доисторических ракушек, рыбьих скелетов, отпечатков разных трав. Эгле оставалась в лагере, варила нехитрую походную еду, заваривала чёрный, как дёготь, чай. Она любила только такой чай. Зоологи разбавляли его кипятком и ворчали на Эгле, что так чаю надолго не хватит. Она только посмеивалась и делала по-своему. Она всегда всё делала по-своему.

Однажды, вернувшись к очагу, зоологи обнаружили потухший огонь и пустой казан, в который свалились пучеглазые вараны. Мирабо кинулся к палатке – нет Эгле. Не было её и в других палатках, и вообще нигде. Мирабо кричал её, и все кричали. Тишина.

Надвигалась ночь. В Степи темнеет быстро. Обезумевший Мирабо побежал к дальним барханам. За барханами, распластавшись на волнистом песке, лежала Эгле. Услышав Мирабо, она чуть приоткрыла опухшие веки:

– А-а, это ты, старик... Как я тебя люблю...

Она была совершенно пьяна. Зоологи могли бы простить ей, что нет ужина, но то, что она выпила все запасы общественного спирта и после этого осталась жива, такого ей простить не смогли. Эгле с позором изгнали из лагеря. Вслед за ней, конечно же, поплёлся и Мирабо. Как они пешком добирались по пустынной Степи до станции, лучше не рассказывать.

Обессиленные, обгоревшие, страшные, сели они в вагон, и только тогда Эгле заплакала:

– Прости меня, старик! Прости, а? Ну, дура я, подлая дура, испортила тебе лето. Ты ведь меня теперь бросишь, да?

Мирабо сосал пустую трубку и смущённо слушал её. В глазах его стояли слёзы:

– Дурёха, как же я тебя брошу? Куда ты пойдёшь такая?

– Какая?

– Не от мира сего...

Они стали пить вместе, доходя до безобразия, и не могли остановиться, хотя она грезила о другой, чистой жизни:

«У алкоголика есть сон о чистоте, / О северном сиянии, о чистом теле, / О девичьей прохладной красоте / И о крахмальной чистоте постели. / Есть сон о северных ручьях!..»

Скитались по углам, а то и на улице спали или на вокзале. Наша общая подруга Рута помогла им через Союз писателей получить квартиру – Эгле ведь была поэтом. Теперь у них появилась хотя бы крыша над головой, тем более что Эгле ждала ребёнка. С этой поры стала она звать Мирабо Папой. Так и пошло – все его называли Папа, даже друзья. Родился Ярик, но это не остановило – продолжали пить. Пили 13 лет, и пропали бы, наверно, но тут, почти в одночасье, умерли родители Эгле, оставив ей дачу с цветочными теплицами. Брат Эгле был недо-

волен, хоть ему достались родительская квартира, автомобиль и гараж. Боялся, что раз Эгле с Мирабо пьют, то и дачу пропьют. Но Эгле решительно бросила пить, и Мирабо заставила, и они с ним бежали за город, и занялись на даче цветоводством. Наконец-то у них появилось какое-то дело! Мирабо стал работать в дачном кооперативе мирабом, чтобы всегда быть при воде, а Эгле выращивала невиданные по красоте хризантемы и розы. У неё обнаружился талант агронома, хотя по образованию она была филологом. Эгле выводила новые сорта хризантем которые прославили её в среде цветоводов. Сочинительство забросила. В тетрадках, рядом со старыми рифмами, шли теперь свежие записи о сроках цветения, о внесённых удобрениях, о борьбе с мучнистой росой и т. д. Со своими роскошными цветами ездила она в город, продавала на цветочном рынке, оставляя Ярика на Мирабо. Пошли деньги. Когда-то она хотела славы литературной, писала дерзко: *«Я требую свой лавровый венок, как требовал Шекспир своё дворянство!»*, а нашла признание как цветовод, и тем успокоилась, тем была счастлива.

Дядяка Валяка и Фёдоров

На рынке прилепился к ней убогий Володька, которого все звали Дядяка Валяка. Семьи у него не было, жилья тоже. Он обитал в цветочных ларьках. Эгле подкармливала его, защищала, если разъярённые торговки били Дядяку Валяку за какую-нибудь оплошность. То он опрокинет вёдра с георгинами, то чуть ли не под самое горлышко обломает хрупкие гвоздики, то поленится сходить за чистой водой и принесёт из ближайшего арыка с мусором. Гнали его, но он приходил опять. Деваться ему было некуда.

А история его такова. Володьке было всего два года, когда попал он с матерью под немецкую бомбёжку. Москва эвакуировалась. Их поезд сгорел, мать убило сразу же, а Володьку спасли. Воспитывался в детском доме, в Ташкенте. Когда вырос, стал бродяжничать. Так очутился в Алма-Ате, где прибился к цветочникам. Цветочников гоняли, называли барыгами, теплицы с капризными розами, пряными гвоздиками и королевскими лилиями сносили тракторами, давили безжалостно, но цветочники снова строили теплицы, поднимая среди зимы райские сады – с летними ароматами, с порхающими над ними эльфами, по садам этим расхаживали прекрасные Флоры в венках из листьев и фруктов. Так казалось мечтательному Дядяке Валяке.

Цветы неплохо кормили, потому цветоводы и рисковали, и воевали с властями, которые боролись с любой попыткой наживы. Дядяка Валяка помогал в теплицах и на рынке, ездил в знакомый ему Ташкент за рассадой и дешёвыми весенними букетами. Когда хотел. Но чаще – не хотел. Чаще – валял дурака: Дядяка Валяка.

Он был ещё молод и кудряв. И вот однажды его приглядела себе одна, овдовевшая недавно, прекрасная Флора, которая страдала без мужика. У неё был свой дом в пригороде и большое хозяйство. Кроме цветников, ещё куры, козы, поросёнок. Дядяка Валяка стал жить с прекрасной Флорой, но работал по настроению. А так – сидел себе на пенёчке в саду и пересвистывался с синицами или строгал палочку, по-детски щурясь на солнце. Прекрасной Флоре это не нравилось. Подбоченивалась, кричала:

– Мать твою за ногу, Володька! Ну вот чё опеть за калачи? Розы не прополоты, фиалка вянет, поросёнок не кормлен, а ты выёгиваешься! Всё делаешь так-сяк, задом об косяк!

– Я тебе не раб! – сказал Дядяка Валяка. И ушёл от неё.

За ноги цеплялась молодая, липучая трава-жгучка, волнами ложился зверючий пырей, тучи маленьких мотыльков вылетали из потревоженной зелени, а Дядяка Валяка упрямо протаптывал тропинку в нехоженом поле, по дороге собирая степные грибы. Целый пакет набрал. Развёл костерок под зелёными холмами, нанизал грибы на прутики, жарил и ел. Насытившись, лёг прямо в траву, нежную и пахучую. Разве Флора, хоть и прекрасная, сравнится с нею? Спал до вечера. А к ночи пришёл на цветочный рынок. Рынок торговал круглые сутки. Там было весело, шумно, разный народ подходил, рассказывал что-нибудь. Цветочницы угощали чаем с пряниками.

– А где твоя? – тормозили Дядяку Валяку.

– А-а, – махал рукой Володька, – с поросёнком она... Ей с ним лучше.

– Шутник!

– Я тут буду.

– Ну ладно, живи, пока лето, а зимой ищи чё-нибудь!

– Зима когда ещё будет!

* * *

Дядяка Валяка потом перейдёт по наследству мне, как подарок от прежней жизни Мирабо, и Мирабо будет удивляться моему недовольству:

– Ты же писатель, а Володька такой колоритный персонаж – бери и списывай живьём! Это же находка для литературы!

– Для литературы – может быть, и находка, а вот для жизни – избави Бог!

Избавлял меня Бог от него долго. Дядяка Валяка периодически поселялся у нас, и выкурить его было невозможно. Прибегал из теплотрассы, с красными руками, как два рака: ошпарил их кипятком, когда хотел побриться. Ну вот как его выгонишь? Пускали под душ, шли в аптеку за мазью, Мирабо отдавал одну из своих рубашек и какие-нибудь спортивные штаны – старьё выбрасывали, лечили ему руки, бинтовали, кормили супом. Он старался есть деликатно, не спеша, но, оголодав на воле, хлебал жадно, пил суп из тарелки – через край, съедал полбулки хлеба, выдувал чайник чая, и, довольный жизнью, мостился на полу, на резиновом надувном матрасе, который Мирабо накачивал велосипедным насосом. Жил у нас несколько недель. Ходил на базар к цветочницам, помогал, если не прогоняли. Цветочницы давали ему немного денег. Дядяка Валяка никогда не пил спиртное и деньги тратил только на мороженое или воздушные шарики, которыми забавлялся, как дитя.

По вечерам они с Мирабо играли в шахматы. Но я всё же уставала от этой идиллии, мне надоедал приживала – уходить он категорически отказывался! И однажды я не выдержала, призвала на помощь мою подругу Геру – в прошлом майора милиции. Гера надела милицейский мундир, пришла – и повела себя неожиданно:

– Ах, Володичка! Какой красивый мужчина! А я Гера!

Ну вот что ты с ней будешь делать? Она в своём репертуаре – слаба на передок. Дядяка Валяка сначала испугался мундира, а потом приосанился, стал с Герой заигрывать, и в порыве детского восторга подарил Гере трёхлитровую банку поддельного мёда, которую притащил с базара. Банку эту он выиграл в нарды у базарных обманщиков, турков-месхетинцев.

* * *

Был ещё один Володька – Фёдоров, с проставатым деревенским лицом и намечавшимся пузиком. Чтобы Володек различать, одного мы звали Дядяка Валяка, а другого – Фёдоров. Он тоже из прошлой жизни Мирабо, и познакомились они в пивнушке. Второй Володька был типаж из той же оперы, что и первый – колоритный для литературы и невыносимый для тесного проживания, а проживать с нами тесно он тоже периодически стремился. Родных у Фёдорова здесь не было где-то в Краснодарском крае жил взрослый сын, но отца не хотел знать, обидевшись, что тот чуть не убил его мать. А как не убить?

Родители Федоровской жены выращивали ондатру, выделывали шкуры и шили из них шапки и шубы, а Фёдоров с женой их продавали. Однажды Фёдоров пропил все вырученные деньги, жена, естественно, выразила недовольство, и Фёдоров кинулся на неё с ножом. Дрались часто. И так жена Фёдорову надоела, с её нотациями и вонючей ондатрой, что он бросил семью и подался в Сибирь – за большими деньгами и весёлыми кралями.

Ещё до женитьбы, служа в армии, попал Фёдоров в Чехословакию, где случился как раз мятеж – «Пражская весна». Фёдоров получил тяжёлое ранение в голову, после чего крыша у него и поехала.

Весной и осенью лежал на Каблукова, в психушке, куда Мирабо носил ему передачи: сигареты и мои пироги. Подлечивался, выходил на свободу, открывал какой-нибудь бизнес, чаще всего строительный, поскольку был профессиональный строитель, но и в машинах разбирался – его знали как хорошего «костоправа». Да только всё кончалось одинаково: заработает кучу денег, кралю себе найдёт – с квадратными метрами: и жилыми, и в районе бёдер, загуляет с ней, часть богатства у него в загуле кто-нибудь украдёт, может, и краля. Промотает всё! Краля выгонит его на улицу, и обнищавший сумасшедший Фёдоров плетётся к нам. Хлебает борщ, вынимает из-за пазухи чекушку, выпивает залпом, плачет, упав мордой в тарелку. Мирабо укладывает его спать на надувной матрас. Постельное бельё Фёдоров всегда приносил своё. Одежки нет, сумка пустая, а бельё – есть. Чистое. По утрам уходил устраиваться на работу, но проскакивала неделя, другая, месяц, а работы всё не находилось, зато всегда находилась чекушка. Пил сам на сам. Когда не пил – смотрел на себя в зеркало: у нас в прихожей стояло большое – от пола до потолка – зеркало, вот в него он и смотрелся часами, и, судя по всему, очень себе нравился. Вместе с ним в зеркало таращился наш котёнок Стёпа, бросался на своё отражение, и не получив отпора, заглядывал за зеркало: может, враг там? Вскоре Стёпа понял, что всё обман, и больше в зеркало не смотрел, но, проходя мимо, всё же косился на своё отражение, делая вид, что ему всё равно. А вот Фёдоров не мог спокойно проходить мимо зеркала – оно его притягивало. Но как-то, созерцая себя, видимо, увидел кого-то ещё, может, и сатану – из таинственного Зазеркалья, потому что схватил на кухне нож и стал тыкать в зеркало, и орать диким голосом. Пришлось его скрутить и вызвать дурку.

...Но я забежала сильно вперёд. Вернёмся к Эгле. Она привечала у себя и Дядяку Валяку, и Фёдорова, который в то время процветал: заявлялся на дачу в длинном кожаном пальто, дорогом кашне, важно вынимал из кармана гаванскую сигару, – Мирабо угощал. Сидел в саду, в рваном шезлонге, нога на ногу, курил сигару и пилочкой обтачивал ногти. На пальцах у него красовались огромные перстни из «цыганского золота».

«Дай мне, жизнь, отдышаться от боли...»

Эгле пропадала на рынке. Мирабо приглядывал за теплицами либо занимался водой. Но времени свободного всё равно было много, и он читал французских поэтов. Ярик рос сам по себе. Притаскивал на дачу то ежа, то черепаху, то брошенную кошку, то выпавшего из гнезда птенца. Всей семьёй копошились над ними, тут же привязывались, любили. И никому не было отказа, и не было тесно в узких дачных комнатах, где стояли самодельные стеллажи с книгами, и топчаны покоились тоже на стопках книг: пыльных сочинениях Ленина и Сталина. Это богатство родители завещали Эгле. Сыну – квартиру, машину и гараж, а дочери – тома Ленина и Сталина. Правда, ещё дачу. Везде было вольное бытие предметов. Эгле мало волновал быт. Из земли, которая покрывала деревянный пол, росла картошка, кустился укроп, пробовала цвести мелкая кашка. С улицы в постоянно отворенные летом двери влетали собаки, приносили хозяйке добычу: задушенную крысу, ворону или красные альчики, украденные у Ярика. Запрыгивали на топчаны шипящие друг на друга коты. От них оставались блохи, которые приживались в шерстяных джунглях одеял. Впархивали в дом воробьи и паслись на столе – с него никогда не смахивали крошек. Ласточки слепили себе гнездо прямо на кухне. Эта ноздреватая «варежка» отчаянно пищала. Ярик запихивал птенцам мух и охранял ласточкино гнездо от хитроумных котов.

Зимой в дачном доме стал жить и Дядяка Валяка. Он заболел. Спать в цветочных киосках было холодно, стоял морозный декабрь, и Володька пропадал. Вот Эгле и привезла его к себе. И тут она, конечно, неизмеримо лучше меня и добрее – я никогда не любила в доме колхоз и коммуны. Мне всегда нравилось уединение.

Ярик быстро подружился с новым жильцом. Дядяка Валяка был бесконечно добрый и с разумом ребёнка. Выстругал Ярику из деревяшки богатыря в шлеме, выдувал мыльные пузыри из трубочки с кольцом и ссорился из-за лишней конфеты, но всегда уступал. Больше всего он любил ничего не делать, и, как говорится, шило в стенку!

По вечерам вся большая семья, включая кошек, собак и птиц, устраивалась возле печи, которая весело трещала сухими дровами. Собаки блаженно вытягивали лапы, греясь после улицы. Кошки спали на блошиных одеялах, свернувшись калачиком. Петух Петька и говорящая ворона залетали на буфет и оттуда смотрели на огонь. Эгле чинила дырявые носки. Ярик сидел на низенькой табуретке, прижавшись к тёплой матери. Мирабо читал вслух стихи Верлена и Бодлера. Дядяка Валяка слушал с умным видом и выдувал мыльные пузыри из выдувалки.

Так продолжалось много лет: Эгле с самого рассвета копалась в теплицах или торговала в городе. Мирабо, проверив воду, читал французских поэтов. Ярик пополнял запас животных в доме. Дядяка Валяка бездельничал.

К праздникам цветы хорошо брали, и тогда Эгле привозила из города тяжёлые сумки с провизией. Народ оживлялся, веселел. Игорь до смерти помнил, как однажды Эгле запекла большой кусок мяса с апельсинами – по-кубински, а так-то редко готовила. Накормленная ворона ходила по столу и клекотала: «Эгле! Эгле!» Сытые кошки и собаки спали в обнимку. Мирабо читал семейству французов, а Дядяка Валяка выдувал мыльные пузыри.

Потом Эгле заболела, надорвавшись со своими цветами, но лечиться не хотела.

Надо было выращивать хризантемы и розы и продавать их, чтобы кормить Ярика,

Мирабо и Дядяку Валяку, а также кошек, собак и другую живность. У Мирабо была только сезонная работа. Зимой мираб не нужен. Зимой он сидел без зарплаты и пенсию не получал, потому что потерял все документы. Зимой он впадал в лень, не хотел даже снег отгрести от крыльца. Эгле сердилась:

– Папа, да убери ты этот сугроб, пройти невозможно!

Невозмутимо попыхивая трубочкой, Мирабо отвечал:

– Снег убрать? Зачем? Лучше передвинуть дом!

Повзрослевший Ярик ни зимой, ни летом нигде не работал. Лежал на своей половине, пускал кольцами сигаретный дым. Подждал мать с провизией. Иногда напивался, а потом стал баловаться и наркотиками. Ездил за коноплей в Чуйскую долину. Был пойман и получил первый срок. Эгле писала ему в тюрьму письма: «Зайчик, котёнок, чисти обязательно зубки. Если нет щётки и зубной пасты, чисти солью или просто носовым платком. И, прошу тебя, ни с кем не дерись...» Но «зайчик» дрался! Свернули ему челюсть. А она снова пишет: «Зайчик, котёнок, чисти зубки...» Поздний ребёнок, она с ним цацкалась, как с маленьким, а надо было строго держать. Он хорошо рисовал, хотел стать художником – не пустила: «Там все пьют!» Боялась, что он повторит её запойную молодость. Пошёл учиться на металлурга – бросил: скучно! Так и стал потом болтаться. Не уберегла! Когда отсидел – снова залёг на своей половине. Курил, пуская кольцами дым, подждал мать с провизией. Иногда крал у неё деньги, чтобы купить выпивки или дозу. Вот тогда-то Эгле и разбивала тарелки об его голову. Но что толку? Это был уже невменяемый человек.

Дядяка Валяка, пригревшись у дачной печки, тоже не работал. Зачем? Он же не раб! Иногда, правда, ходил на рынок, играл там с мясниками в нарды – в Ташкенте научился, и если выигрывал, они давали ему коровью голову. Он притаскивал добычу на дачу, рубил прямо на порожке дома, окружённый возбуждёнными собаками и кошками. На порожке этом остались глубокие зазубрины – отметки счастливых дней.

Эгле задыхалась от болей в груди – лёгкие её, поражённые эмфиземой, разрушались, но она скрывала от семейства свои страдания. Пыталась договориться с Жизнью:

«Дай мне, Жизнь, отдышаться от боли! / Постоять на твоём косогоре, / Отдышаться мне дай, не молчи!..»

Молилась, как умела:

«Всё минует безвозвратно, / Не минует лес с травой. / Дай мне, Боже, чтоб и завтра / Я опять была живою...»

И жизнь возвращалась к ней. Боль отпускала. Тогда Эгле думала, что болезни и нет никакой. Но как-то, осенью, она потеряла сознание прямо за цветочным прилавком. Цветочницы привели её в чувство, дали Ярику денег, чтоб такси поймал и вёз бы мать домой. Ярик ушёл – и с концами. Дозу купил. Толстуха Лирка помогла добраться Эгле до дачи. Ткнулась Эгле в отворённую дверь, упала на зазубренный порожек и – умерла.

Мирабо остался один. Вся семья как-то быстро рассеялась. Дядяка Валяка перешёл жить в колодец теплотрассы. Ярика посадили: он ограбил промтоварный ларёк. Мирабо недоумевал, как такое могло случиться с Яриком? Почему? Ведь такая хорошая семья была, так счастливо они жили, а Ярик вдруг стал вором, пьяницей и наркоманом. Мирабо не хотел жить. Думал напиться и сгореть от

водки – но он не пил уже двадцать лет, и пить не тянуло. Думал повеситься, но не нашёл ни одной целой веревки – все были гнилыми.

А разрушение прежней жизни продолжалось. Собаки, а вслед за ними и кошки зимой заболели чумкой и все передохли. Петушка съели соседи. Говорящая ворона улетела неведомо куда. Остался один Мартик. Он тихо лежал у ног хозяина, положив худую морду на вытянутые лапы, и с жалостью смотрел на него. Мартик жил теперь не во дворе, а в доме. И цепь, и конуру Ярик пропил. Пропил и дрова с углем.

Мирабо уже давно ничего не варил ни себе, ни Мартику. На столе в кухне догнивала гора картофельной кожуры. Остатки хлеба съели мыши, а мышей съел Мартик. Предлагал и хозяину, но Мирабо отказался.

Закутавшись в одеяло, Мирабо полуспал-полугрезил, укачиваемый волнами голода и своего горя. Он оброс стариковской бородой, сторбился. Он давно не разговаривал с людьми и стал забывать слова. Помнил, что за предметы перед ним, но не мог сразу найти им названия. Он терял человеческий облик. Он превращался в тень. И тут появилась я. Но сначала был сон. Мою жизнь постоянно сопровождает мистика. Может, потому, что я сама её жду, награждённая от рождения чрезмерным воображением.

Снится мне, будто я плачу от одиночества, а благообразный старец с бородкой ласково так глядит на меня, гладит по голове и приговаривает:

– Скоро, скоро придёт твой суженый! Этот день не за горами. Не плачь!

Я подумала во сне, что это сам Господь Бог, и поверила Ему. И стала ждать.

Роковой брудершафт

Тёплый осенний день. Моя подруга Рута позвала меня на похороны Людмилы Лезиной – Эгле. Она дружила с ней, а я знала только по стихам, которые мне очень нравились своей прелестной, детской непосредственностью. Мирабо потом вспоминал, что и Эгле читала мои стихи – он купил мою первую книжицу «Возраст августа», привёз из города на дачу. Эгле тут же вырвала книжку у него, читала всю ночь, зверски дымя сигаретой, а потом нервно отбросила:

– Тоже мне, появляются тут разные поэтессы! Пишут тут!

Он так и не понял: понравилась я ей или нет, но на все мои публикации она обращала внимание, прочитывала – и мрачно молчала. Возможно, подспудно, необъяснимым, десятым чувством она угадывала опасность, исходящую от меня – не творчеству своему, она стихов к тому времени уже не писала, а её любви с Мирабо. Кто знает, может, если бы мы встретились, то она бы подобрела ко мне, стала подругой и легче отдала мне после смерти своего мужа, или бы я не посмела к нему вообще приближаться, но мы – не встретились. И с Мирабо раньше не встречались, что очень странно – ведь у нас был один круг общения. Бывало, приду к Руте, а она говорит: «Только что Милка с мужем ушли! Вот пять минут как!» Со старшим сыном Мирабо, Алексеем Вышневым, я неоднократно встречалась в кафе СП «Каламгер». Лёшка родился в Париже, и то и дело болтал по-французски с двумя нашими поэтами: Валерием Антоновым и Валерием Михайловым. С Лёшкой мы даже слегка дружили, я много слышала о Бек-Софиевых и Кноррингах, а вот их самих – не видела. Странно! Судьба словно бы нарочно до времени не сводила нас с Мирабо, не давала сблизиться и с Эгле, чтобы это не

помешало высшему замыслу Небес – нашему с Мирабо будущему союзу. И я потом говорила знакомым, что с Мирабо познакомилась не на Лазурном берегу, а на похоронах его предыдущей жены. Хотя... мы всё же виделись раньше, но я его не запомнила, а он меня – запомнил. Как-то в кабинете ответсека «Простора» Петрова собрались и сотрудники журнала, и писатели, отмечали публикацию нового романа Мориса Симашко. Морис принёс выпивку, селёдку. Этот момент я помню, даже фразу Симашко, который выедал у селёдки внутренности:

– У ней самое лакомое – говнецо!

Мирабо тоже там был, сидел в углу, посасывая трубочку, но в моей памяти осталось только туманное пятно в виде Мирабо, а он подробно описал меня: мол, ты вошла в синей узкой юбке и таком же тёмном свитере в обтяжку. Молча выпила две капли водки и тут же ушла. Мирабо обиделся, что я не обратила на него никакого внимания, и помнил эту обиду всю жизнь. В самом деле, странно, что я не обратила на него внимания, что он был для меня тогда туманом – при моём-то интересе к поэзии его матери, Ирины Кнорринг: я читала её книжку, которая вышла в «Жазушы» благодаря хитроумному плану редактора Зои Васильевны Поповой, ведь эмигрантов в СССР не печатали, даже Твардовский не решился взять стихи Кнорринг в «Новый мир», несмотря на хороший отзыв Анны Ахматовой, а Зое Васильевне удалось напечатать. Почему я не познакомилась с Мирабо, даже не поглядела на него? Загадка...

* * *

Когда мы с Рутей вошли к Эгле, народу собралось уже много. Я сразу увидела Мирабо – вот тут я его увидела! Растерянный, оглушённый внезапным обвалом привычной жизни, сидел он у маленького гроба, в котором лежала маленькая, страшная Эгле: с чёрным лицом, совсем старуха. Он её не узнавал. И никто не узнавал. Тут же стоял, низко опустив нечёсаную голову, Ярик. Потом мы с Рутей вышли на улицу – в комнате было душно, пахло сторающими свечками и горькой гвоздикой. Вскоре вышел и Мирабо. Он пытался раскурить трубку, но руки не слушались. Кто-то помог, поднёс огня. Я отметила, что Мирабо сильно запущен: костюм лоснится от старости, рубашка под галстуком хоть и чистая, но мятая, тощий затылок изрезан старческими морщинами, он исхудал, отчего, и так высокий, казался ещё выше, и только глаза притягивали детской чистотой и доверчивостью. И тут, неожиданно, я вдруг сказала себе: «Неужели он будет моим мужем? – и рассмеялась. – Какая глупость! Он же совсем старик, да и вообще... Придёт же в голову такая чушь!»

А между тем, стала я смотреть на Мирабо новыми глазами, как бы примеряясь к нему как к мужу. Мне всё время казалось, что я его где-то видела, что знаю давным-давно. Лицо его маячило туманным пятном в памяти, но я никак не могла ухватить нить – откуда знаю его? Это занимало меня весь остаток дня – и по дороге на кладбище, и там, среди сонма могил и высоких тополей вдоль кладбищенской дороги, и на тесных поминках, где Мирабо немного пришёл в себя, порозовел, читал по-французски Верлена, поглядывая на меня – может, потому, что и я глядела, пытаюсь вспомнить, где же видела его, где?

Вспомнила уже дома, перед вечерней молитвой: «Во сне! Да, да, во сне! Я видела его во сне, но подумала, что это Господь Бог, а это был – Мирабо!» Я его узнала – он был похож на моего ночного утешителя. Но не сразу мы встретились.

вновь. Прошло полгода. В журнале, где я работала, решили поддержать Мирабо, напечатать стихи Эгле. Для этого отправили меня на переговоры. Тогда-то я и нашла его на холодной даче, и стала подкармливать пирогами. Помогла сделать документы и оформить пенсию. Теперь мы встречались часто, собирая стихи Эгле, рассыпанные по дому. Находили их даже под кошмой собаки Бубы, сдохшей зимой от чумки, находили в тазу с золой и среди пакетиков с цветочными семенами. Кое-как разложили в стопки, пронумеровали, составили подборку для журнала и для будущей книги.

* * *

Однажды я пришла к нему, как сейчас помню, 18 марта – в День Парижской коммуны. Пришла не на дачу, а в его городскую квартиру. Он там иногда появлялся. Собралось небольшое застолье из стареющих девушек – все они были подругами Эгле и пришли поддержать Мирабо в его горе, но не только: каждая надеялась стать его невестой. В народе говорят: *«Когда умирает муж – остаётся вдова, когда умирает жена – остаётся жених»*. Наш «жених» распушил перья, принимая парад невест, а девушки наперебой демонстрировали свои таланты: одна, в платье с легкомысленными крылышками, бацала на расстроенном пианино и пела Окуджаву: *«Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поёт...»*, толстуха Лирка притащила торт, который сама же и съела, третья девушка брала интервью для радио, четвёртая сидела просто так, то и дело обмахиваясь подолом юбки и показывая дряблые коленки – её мучили «девичьи» приливы. Только я молчала, попивая чаёк.

Когда пора было расходиться, я вызвалась помочь Мирабо помыть посуду, а поскольку жила по соседству, то это как бы само собой разумелось, потому что девушкам надо было далеко ехать, однако девушки наперебой заверещали:

– Мы тоже можем помыть!

Но Мирабо пресёк их порыв:

– Пусть она!

И, видимо, чтобы не раскрывать истинных своих замыслов, Мирабо добавил:

– К тому же, нам надо обсудить кое-какие рукописи... для «Простора».

Девушкам пришлось ретироваться.

Когда посуда была помыта, я сказала:

– Ну что, приступим к рукописям?

Мирабо заварил свежий чай и предложил:

– А давайте сначала выпьем на брудершафт и перейдём на «ты»?

А у самого глаза врубелевского Пана. Соблазнял!

Весело перешучиваясь, мы налили свежего чаю, скрестили кружки. Я была совершенно безмятежна и не ожидала никакого подвоха от невинного чайного брудершафта. Мирабо, как мужчина, казался мне совершенно безопасным, хоть и француз, – в такие-то преклонные лета! – и потому легко согласилась на его, как потом оказалось, коварное предложение. Мы отхлебнули чаю, мы поцеловались – и через мгновение я пала, быстрее Бастилии. Помню, сидела потом, закрыв лицо руками. Стыдно было невыносимо, а он решительно сказал:

– Теперь я тебя никому не отдам! Никому, так и знай!

Эта решительность в мягком и совсем на вид не мужественном человеке обескуражила меня. Сначала обрадовала, а потом ещё больше опечалила. И я

быстро собралась и убежала. Не спала всю ночь, в полном отвращении от своего поступка. На другой день кинулась к Руте, каялась:

- Что я наделала! Что наделала!
- Родину предала? Дурную болезнь подхватила?
- Хуже. Я Мирабо соблазнила.

– О, Боже! Я-то думала... Ну вот что! Теперь, мать, как честная девушка, ты должна выйти за него замуж!

– Не хочу! Я другого люблю! Не буду! – заливалась я слезами.

– Будешь! – сурово отрезала Рута. – С ним так нельзя. Он же чистое дитя, его нельзя обманывать, а этот твой «другой» – идиот, вот что я тебе скажу! Идиот и говнюк. Держись от него подальше! Только Мирабо!

Перечить Руте было бесполезно – в решительные моменты она была жёстким человеком: военная медсестра, потерявшая всю семью. Родители сгинули в лагере, как враги народа. Была у неё девочка – фронтовой подарок, Алёнушка, но простудилась и умерла в холодной московской квартире, когда враг был на подступах к столице. Оставался брат-подросток, но и он погиб: его сожгли в газовой печи немецкого концлагеря. Выпускница московского Литературного института им. Горького, она прошла лагеря по 58-й статье – за недоносительство на своего любимого, которого объявили английским шпионом и расстреляли. Девочка была от него. В лагере Руту уважали – за доброту и справедливость. И для меня её слово много значило. Но и без этого нас с Мирабо несла уже друг к другу неотвратимая воля Судьбы, и разминуться, и что-то изменить было невозможно. Я тогда воочию увидела, как Судьба управляла мной. Правда, с тех пор никогда больше не пью на брудершафт.

Милый друг

Мирабо тоже был частью нашего литературного мира и потому знал многих поэтов, знал и о некоторых моих романах – в прошлом, до него! При нём я романов уже не заводила. Знал, в том числе, и о романе с тем «другим», о ком так нелестно отозвалась Рута. Я этого «другого» называла в шутку Милым другом. Мирабо, как и Руту, удивляла моя влюблённость в него, он считал эту влюблённость опасной, и не сразу сказал, почему, только добавил: «Хорошо, что вы расстались. Это тебя Бог миловал!» Только спустя длительное время я узнала правду. Вот что рассказал мне Мирабо.

Когда Бек-Софиевы из Франции вернулись на родину, мой Милый друг был приставлен к семье бывших эмигрантов, и вообще, к культурному кругу Алма-Аты – писателям, артистам, художникам, журналистам, учёным – тайным соглядатаем от КГБ. Это теперь КГБ не видеть и не слышать, хотя он существует и заботится о безопасности государства, а тогда эхо сталинского репрессивного органа всё ещё звучало в наших ушах, внушало страх, и даже анекдот ходил. Спрашивают старого еврея: «Почему ты прогнал козу, которая кормила твою большую семью?» – «Так она же всё время повторяла: «ке-ге бе-е, ке-ге бе-е...». В Москве продолжались процессы над диссидентами-антисоветчиками, а у нас арестовали многих актёров нового авангардного театра в Павлодаре, в том числе и заведующую литчастью поэтессу Инну Потахину. Она мне потом рассказывала, что пришлось ей пережить при длительных допросах, когда не давали спать, когда унижали. Литературный

критик Ефим Ландау, который жил в Алма-Ате, выбросился из окна, затравленный КГБ: к нему сосед постучался – за солью пришёл, а Ландау думал – из органов, арестовывать, и покончил с собой. Был посажен учёный-литературовед и музыковед, исследователь творчества Исаака Дунаевского Наум Григорьевич Шафер, который впоследствии открыл в Павлодаре Дом-музей на основе своей уникальной книжной и музыкальной коллекции. Его давно уже переманивают в Россию, в Омск, вместе с коллекцией, но Шафер хочет, чтобы музей оставался на его родине – в Павлодаре Руфь Тамарина, отсидевшая по 58-й статье, вздрагивала на каждый звонок в дверь: ждала нового ареста, а поэт Сергей Марков, когда бывал в Алма-Ате и жил у друзей, с подозрением относился к холодильнику: вдруг там прослушка?

Вот и Милый друг попал на крючок к кэгэбистам. За что – за какие провинности или блага – не знаю, но думаю, что это всё же было не добровольное, а вынужденное решение: сотрудничать с ними. Мирабо тоже склоняли к сотрудничеству, но он отказался. Уговаривали и кое-кого ещё. Все уклонились! А Милый друг – не смог. Но когда я влюбилась, то не знала о его двойной жизни. Мирабо знал, Рута знала, многие знали или догадывались, а я – нет.

Ладно, оставим пока эту печальную тему, тем более что гораздо больше Мирабо волновала моя романтическая привязанность (и тоже в прошлом, до него!) к одному поэту – назовём его просто Поэт, хотя у него было, конечно, имя, и довольно громкое в то время, но называть мне его сейчас не хочется. И всё же я горжусь, что у меня был Поэт, мой личный Петрарка, выбравший меня в свои Музы! Эй, Лаура и Беатриче, не только вас воспевали! Он написал мне множество любовных строк, но они остались за пределом его книг как малозначительные, так что гордиться особо нечем. Прощайте, Биче и Лаура! Мне с вами не по пути: вам – в бессмертие, мне – в никуда. Книги Поэта Мирабо читал и не находил в них ничего, что могло бы, по его мнению, так притягивать меня:

– Ты же чувствуешь настоящую поэзию, можешь отличить божий дар от яшишницы. Как ты могла купиться на такую дешёвку?

Что ж делать, слаба, батюшка, и, как всякая женщина, люблю ушами, потому, наверно, теперь и глуховата – особенно на правое ухо: им любила больше. Но Мирабо был справедлив по своей природе и признавал, что Поэт всё же умеет красиво сказать, и вообще, красивый парень, похожий на Есенина, с настоящим русским характером. Поэт мой прекрасно пел народные песни, услышанные в семье, от бабушек и матушки. Этим-то он и нравился мне, нравился и Мирабо. Мирабо всю жизнь искал опору во всём русском, он хотел быть русским, родившись на Западе. И ревность к Поэту вызывала именно его яркая русскость.

Поэты и Музы

Поэт, родом из российской глубинки, возрастал среди чистых рек и берёзовых лесов, звенящих от птиц, на поэтичном русском языке, а сюда приехал за романтикой. Рыл в пустыне каналы, строил в голой степи дома, спал на остывающем песке, на кошке из овечьей шерсти – овечья шерсть отпугивает каракуртов. Над головой двигался Звериный Круг созвездий: Овен, Бык, Лебедь, Лев, Козерог... Слушал по вечерам в чабанской юрте длинные песни кочевников, так похожие на такие же длинные, печальные русские песни. И потом в блокнот быстро записывал новые стихи. Приехал на время, а вышло так, что остался навсегда.

На дружеских пирушках, когда пели под гитару, рекой лилось вино, начинались любовные игры, ко мне народ подходить боялся: все знали – я женщина Поэта, его Муза! А белокурая Люба Шашкова была Музой художника Альберта Гурьева. Никого не смущало, что мы с Любой замужем: ведь игра – в Поэта и Музу.

Все знали и Музу мастера сонетов – назовём его Антоний Яблоков. У Яблокова были пронзительной синевы детские глаза – и хромота Сатира. Шутил о себе: «Раньше мы были Сатирами, теперь стали Юморами!» Муза его была юной девой семнадцати лет. Может, назовём её Эвой? Да, пусть будет Эва! И тоже к Эве никто не осмеливался подбивать клинья – нельзя: она Муза Антония! Хотя в других случаях происходило активное «перекрёстное опыление». Увы! Это тоже литературное бытие, где легко сочетается высокое и низкое. В своей поэме «Лета» Антоний Яблоков посвятил Эве четырнадцать восхищённых строк:

«На отмели сверкающей Или, / Земля и ты, сходясь, меня ласкали, / И губ моих без устали искали, / И за руку вдоль берега вели. / Три ночи звёзды нам из мглы мигали, / Три утра маки свежие цвели, / И от голубизны изнемогали / Вода и скалы дымные вдали. / И я не думал, сколько мне осталось / Превозмогать блаженную усталость / У солнцем обведённого плеча / И облака, белеющего где-то, / И засыпать, и слушать, как, звуча, / Нас обтекает медленная Лета...»

Остальные сто строк «Леты» посвящены жене. Я даже подозреваю, что лукавый Яблоков, чтобы усыпить бдительность супруги, свозил её потом тоже на речку Или, где заставил ровно трое суток любоваться маками. Он был великим конспиратором! Стихов о любви в его книгах немного и все они посвящены исключительно жене. И ни одного – романтическим его Музам, хотя они были: и до Эвы, и после Эвы. Жена пристально следила за Антонием, особенно во время поэтических пиров: только Антоний поднесёт рюмку к устам – жена звонит, будто видит его на расстоянии, рюмка и проливается. А потом и вовсе страшное случилось: при виде спиртного напал на Антония чих, и ничем его нельзя было унять. И только когда бутылку убирали, чих отпускал – вот как жена заколдовала Яблокова. Не дай Бог никому!

К стихам Яблокова Мирабо тоже относился критически, как и к творчеству моего Поэта, хотя Яблоков был его другом. Мол, стихи всё же умозрительные, всё же мало в них истинной поэзии. Ещё бы! После Парижа, после общения с Бунинным, Цветаевой, Георгием Ивановым, другими классиками русской литературы наши местные поэты, конечно же, не могли его впечатлить, и это не было снобизмом. Мои стихи Мирабо не критиковал. Что ж, он был мудрым человеком и знал, что я всегда держу наготове чугунную сковородку!

Поэты любят выбирать себе Муз! Без этого они не могут вдохновляться. Если нет под рукой живых – сочиняют себе виртуальных. Блок выбрал в Музы дочь великого химика Любу Менделееву – она была живее всех живых: молодая, с высокой крепкой грудью, порывистая. Заставлял своих друзей молиться ей, как иконе. А она, хоть и актриса, понимающая игру и поэтические фантазии, была всё-таки земной женщиной, хотела замуж, но и в браке с нею Блок продолжал играть в Поэта и Музу, не прикасался к жене, предпочитая для грешных дел продажных женщин. Люба страдала. Надевала кружевное бельё, соблазняла, но муж был к ней равнодушен. И тогда она, в отчаянье, изменила Блоку с каким-то случайным человеком, ребёнка от него родила, который вскоре умер. Блок оплакал раннюю кончину младенца, но не простил Любе своего разочарования – она утратила чистоту его идеала, его непорочной Прекрасной Дамы, его Музы.

Мой Поэт, который, как и положено, тоже меня боготворил, однажды сам поверил в свои фантазии. Он забыл, что нельзя творческий мираж принимать за реальность. В общем, дошёл до того, что оставил жену с детьми и предложил мне жить вместе. Но, как бы я ни заигрывалась, а всегда останавливалась: сын и моя семья были у меня на первом месте! Я не могла бросить ребёнка или привести для него отчима. Нет! Это было невозможно – даже тогда, когда семейная жизнь с моим мужем заходила в тупик и делалась невыносимой. Да, я влюблялась, ведь тоже была поэтом, но отклоняла все брачные предложения. Отклонила и Поэта. Другие как-то легко меняли мужей и жён, строили новые семьи, заводили новых детей. У иных было по три-четыре брака, а то и больше. Один наш писатель вынужден был несколько раз менять паспорт, так как не оставалось живого места для штампов о браках и разводах. Свои семейные проблемы он разрешал просто: сводил жён на кухню, и они сами – без него – разбирались, кто прав, кто виноват, и сами решали, с которой из них он будет жить дальше. Он подчинялся суду жён и был счастлив с каждой – год либо два, иногда меньше. Для меня это было невыносимо, и я в браке несла свой крест до конца, хотя порой и помышляла о побеге на волю, но всякий раз меня останавливала любовь к сыну и долг перед мужем, завещанный товарищем Карениным из толстовского романа «Анна Каренина». Обманутый муж говорил, что супруги могут оступаться, но семейный долг превыше всего, и разрывать семейные узы нельзя – это против божеских законов. И сам Толстой тоже узы эти не разрывал, хотя жена его, Софья Андреевна, мучила классика своей ревностью, своими истериками и то и дело бегала топиться в пруду, но ни разу не утопилась. Да и потом, истерила она нередко из-за того, наверно, что большую часть своей молодой жизни была беременна от мужа, а в этом состоянии женщины особенно чувствительны и капризны, а иногда и немного чокнутые. Он прятал от неё свои дневники в стульях, но она всё равно находила, вычитывала в них подозрительные откровения и снова устраивала скандалы. У Льва нашего Толстого столько, видимо, накопилось в душе брачного страдания, так он устал от «счастья строгого режима», что в романе «Анна Каренина» – явно из мести жене – бросил под поезд такую же истеричную героиню и, может, успокоился этим.

После настойчивого ухаживания Поэта и бряцания цепями Гименея я стала уклоняться от встреч с ним. И он вот что придумал: стал приходить к моему дому и петь под окном. Не серенады, правда, а любимую нами в то время песню из репертуара Анны Герман – «Эхо». И вышел смешной случай. Поэт в очередной раз – приняв на грудь – пришёл к моему окну и затянул «Эхо». Прячется в кустах сирени и поёт: «Мы эхо, мы эхо, мы вечное эхо друг друга!» Мой муж Олег был дома. Он сидел под зелёной лампой и пинцетом раскладывал марки в клейстере. Олег был заядлым филателистом! Заслышав песню, которую Олег тоже любил, он тут же радостно откликнулся.

– Мы эхо, мы эхо, мы вечное эхо друг друга! – тянет мой Петрарка в кустах сирени.

– Мы эхо, мы эхо! – откликается Олег, раскладывая марки.

Так и пели два соловья, а я хохотала в своей комнате.

После моего отказа бросить семью Поэт впал в печаль, уныло писал: *«Промозглая осень. Я так одинок. / До сердца промёрз, до души я продрог...»* Больше стихи не писались. Нужен был новый заряд для вдохновения, и вскоре

Поэт нашёл себе другую Музу – молодую красотку из литературного эскорта. Такой эскорт часто сопровождает обитателей Парнаса. Она прилипла к нему так, что он в конце концов женился и завещал ей все свои богатства: квартиру, книги, рукописи. Молодая жена всё время держала его в тонусе, окружённая поклонниками, и, отправляясь на литературные заработки в разные города и веси, Поэт говорил ей:

– Если ты мне за это время ни разу не изменишь, я куплю тебе новые серёжки!

Молодая жена, крутя бёдрами, признавалась подругам:

– Всё равно я ему изменила! А серёжки сама себе купила: он привёз хороший гонопар!

Он узнавал об её изменах – подруги и доносили, так как сами хотели за него замуж. Страдал. Писал грустные стихи:

«Ничего не удалось, / Ничего не состоялось, / И бескрыла даже злость, / И в душе одна усталость...»

Несколько раз порывался бросить неверную жену, но она никак не бросалась и продолжала с ним жить. Тогда он решил отравиться газом, но в тот день газ отключили по всему городу. Он плакал пьяными слезами, сидя на полу у открытой духовки. А потом уснул и больше не проснулся. Всё имущество Поэта молодая жена промотала ещё при его жизни, потому налегке перелетела к его другу – суровому шашлычнику Багиру. Дальнейшая её судьба неизвестна.

* * *

К тому времени я овдовела, оплакав и мужа, и бедного Поэта. Сын вырос и женился, и меня снова потянуло замуж. Наверно, потому, что я привыкла быть замужем, попав туда в девятнадцать с половиной лет. Тут-то и встал на моём пути Милый друг. Может, в самом деле влюбился, а может и получил шпионское задание взять меня на мушку, тем более что я болтлива, а болтун, как известно, находка для шпиона. Но вышло всё наоборот. Несмотря на свою сдержанность, со мной Милый друг раскрепощался, мы много разговаривали, и вдруг – посреди разговора – спохватывался, потухал:

– Блин! Опять я тебе много лишнего сказал...

Я не понимала, чего он испугался, а теперь-то ясно: он опрометчиво рассекречивался, влюбившись и потеряв бдительность.

Не гадайте, кто он – мой порочный Милый друг. Всё равно не угадаете, я и сама до сих пор не знаю точно, кто он? Портрет моего Милого друга – это «Портрет догадок».

По небу шла кошка...

К лету мы с Мирабо были уже вместе. И я в шутку говорила, что Боженьке, видно, некогда украшать нашу связь разными долгими ухаживаниями, потому он соединил нас по быстрой программе и сразу погрузил в семейные заботы, будто мы прожили с Мирабо уже лет пятьдесят – просто расстались ненадолго, а теперь опять вместе. Мы говорили с ним обо всём на свете, и днём, и ночь прихватывали, и не могли наговориться – так наскучались в разлуке. И так мне с ним было спокойно, так хорошо – словно вечное лето наступило, в травах по пояс.

в райском пении птиц, в непрерывном цветении холмов, зелёных и пёстрых. Меня не удручала даже нелепость Мирабо, который мог надеть разные носки или рубаху наизнанку. По вечерам я грела воду на плитке, чтобы помыться. И вот как-то забыла её вовремя выключить. Спыхватилась, кричу Мирабо:

– Выключи, пожалуйста, воду!

А он, довольный собой и думая, что вода кипятится для супа, доложил:

– Я давно уже выключил. И посолил, и лавровый лист положил!

– Ну что ж, молодец! Будем теперь мыться морской водой.

Однажды к нам зашла моя подруга Гера – наши дачи рядом. Меня дома не было. Мирабо, как вежливый и очень рассеянный человек, предлагает ей:

– Раздевайтесь, пожалуйста, Гера Захаровна! – будто она в пальто стоит, а не в лёгкой летней кофточке.

– Как? Сразу? – не растерялась моя подруга.

Мирабо смутился, покраснел и потом боялся её. Если видел, что входит в калитку, тут же прятался в доме, закрывшись на крючок. Молодец! Гера такая – может и Рейхстаг взять, и Бастилию, и замок Ив, и чужого мужа.

Полёты над бездной

А между тем, под натиском США, развалился СССР, перед этим положив в Афганистане сотни молодых ребят, а те, что вернулись живыми, периодически сходили с ума – всё брали и брали Кандагар, прыгая с балконов! А сколько пропало без вести. Лежат ли они в безымянных могилах или молятся Аллаху, забыв русский язык – неведомо... Потом бойню эту назовут бессмысленной и жестокой: СССР был втянут в чужую гражданскую войну, конца которой нет и сейчас. Афганистан нельзя победить – все, кто шёл туда войной, пропадали среди гор. Это понял Суворов, остановив свой поход на Восток. Нынче древний Афганистан стал житницей опиумного мака и рассадником терроризма. Там завязли американцы, вытеснив русских.

* * *

Мирабо рассуждал об Америке, что, мол, это же сравнительно молодая страна. Если перевести на человеческий век – она подросток, ей лет 13-15. Отсюда и поведение. Это возраст, склонный к разрушению, к агрессии, к самоутверждению через силу, через драку: я самый главный! Я самый лучший! Американцы – подростки, у которых играют гормоны и первичные инстинкты превалируют над разумом. От этого и мировые беды, и беды самой Америки. К тому же, тут и пресловутые гены играют не последнюю роль, ведь заселяли континент авантюристы, проходимцы, беглые преступники, испанские головорезы – всех манил блеск золота. Из-за этого блеска безжалостно уничтожались американские аборигены – индейцы. От преступных переселенцев и пошёл нынешний народ Америки с долларами вместо глаз. Мирабо вспомнил Гоголя, как он об Америке ещё полтора века назад сказал вполне определённо в письме к В. Жуковскому: *«А что такое Соединённые Штаты? Мертвечина. Человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит...»* А Гоголь хорошо изучил «фигуру фикции», «мертвечину», создавая «Мёртвые души». Америка производит деньги ради денег и давно уже торгует воздухом, «мёртвыми душами», втяхивая их по

всему миру. Так что же ожидать от такого народа? Но когда-нибудь и американцы перебродают, преодолеют подростковый возраст, наиграются в войнушку, повзрослеют, поумнеют. Или – погибнут...

Я поддерживала мужа в американском вопросе, а теперь бы поспорила. Не могут все американцы быть преступниками – нет плохих и хороших народов. Любой народ – от Бога. В любом народе есть грешники и праведники. А ещё я думаю о писателях. В Америке ведь были великие писатели: Джек Лондон, Марк Твен, Драйзер, Селинджер, Ремарк, Хемингуэй, поэты Уитмен и Лонгфелло. Я уж не говорю о выдающихся латиноамериканских прозаиках – это особая планета. Если есть великие писатели, значит, народ не безнадёжен, значит, у него имеются духовные ориентиры. «Лучшая» Америка показана в поэме Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (во вдохновенном переложении Бунина). «Добро и красота незримо разлиты в мире», – был уверен Лонгфелло. О нём говорили, что он всю жизнь искал добро и красоту, «ему всегда были особенно дороги чистые сердцем люди, его увлекала девственная природа, манили к себе древние народные предания с их величавой простотой и благородством, потому что сам он до глубокой старости сохранял в себе возвышенную, чуткую и нежную душу». Он говорил о поэтах: *«Только те были увенчаны, только тех имена священны, которые сделали народы благородней и свободнее»*. Магический слог этой поэмы Лонгфелло до сих пор пленяет и вызывает порыв к подражанию:

*«Если спросите, где слышал, / Где нашёл их Навадага, – / Я скажу вам, я
ответчу: / «В гнёздах певчих птиц, по роцам, / На прудах, в норах бобровых, / На
лугах, в следах бизонов, / На скалах, в орлиных гнёздах. / Эта песня раздавалась
/ На болотах и на топях, / В тундрах севера печальных, / Читовейк, звук, там
пел их, / Манг, нырок, гусь дикий Вава, / Цапля сизая, Шух-шух-га, / И глухарка,
Мушкодаза...»; «Вам, в чьём юном, чистом сердце / Сохранилась вера в Бога, /
В искру божью в человеке; / Вы, кто помните, что вечно / Человеческое сердце
/ Знало горести, сомненья / И порывы к светлой правде, / Что в глубоком мраке
жизни / Нас ведёт и укрепляет / Провидение незримо, – / Вам бесхитростно пою
я / Эту песнь о Гайавате!..»*

Звезда Полюнь

...А ещё мы видели зловещую Звезду Полюнь, описанную в Библии. Теперь она называлась Чернобыль – чёрное быльё. Взрыв на атомной электростанции. Жертвы. Беженцы. Мёртвый город атомщиков Припять. Он был похож на декорацию фантастического фильма: дома как дома, – современные многоэтажки. В квартирах мебель, телевизоры, холодильники, школьные тетрадки на столе, куклы на заправленных кроватях, на кухне – еда в тарелках. И ни души. Пусто и на широких улицах, только ветер несёт обрывки газет, только трава на обочинах ядовитая, и яблоки в саду, и грибы в лесу, и сам воздух – он тоже пропитан смертоносным ядом. Оттуда падают мёртвые птицы и бабочки. Наш казахстанский писатель Бахытжан Канапьянов ездил туда и привёз «Чернобыльский дневник» (1986–1988) – поэт, он увидел всё через поэтические образы:

*«А мать своё дитя / На берегу омоет, / И о звезде Полюнь / Расскажет сказку
мать, / И в Лету поплывёт венки, / И не потонет. / И вслед за ним другой... / Их
нам не сосчитать»*

Бахытжан увидел печальное родство чернобыльской трагедии и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне:

«А где-то на полигоне / Ветер ночной с кургана / Ядовитые тучи гонит. / Степь плачет стихом Корана...»

Чернобыль стал прообразом гибели огромной державы, предвестьем конца света – коммунистического. Мы потеряли родину и сами потерялись.

* * *

Боже мой, как давно я живу, как много пережила! И не только гром побед великой державы, не только гордость, что родилась в такой стране, переполняли моё сердце, но и несчастья помнятся мне, и зловещие тени XX века. Я жила в жестокие сталинские 40-е и 50-е годы, когда Семипалатинск (и весь Казахстан) стал местом ссылки спецпереселенцев и перемещённых народов, стал тюрьмой, стал зоной. Родители нас пугали не бабой-ягой, а Колымой, куда запросто могли сослать любого, и многие наши соседи прошли через сталинские лагеря. Потом я и моё поколение были свидетелями смерти Сталина: *«На нашем веку паровозы / Оплакали сталинский гроб. / И так велики были слёзы, / Что мнился всемирный потоп...»* В самом деле, надрывно выли паровозы – мы жили вблизи железной дороги. Я забежала в дом и увидела страшную картину: мама сорвала со стены портрет Сталина и топтала его, и кричала: «Сдох! Сдох!», а папа пытался её остановить. От сталинских репрессий пострадали её близкие: отец, сестра, зять; она сама была под надзором КГБ. Потом – разоблачение культа личности: у нас, на острове Кирова, кувалдами разнесли памятник вождю. Голова отлетела в кусты и страшно тарачилась оттуда, топорща усы. Долго оставались вокруг пустого постамента чугунные цепи, как символ оков многочисленных узников ГУЛАГа. Мы, дети, качались на этих цепях, как на качелях. А ещё игра была в «кондолы»: «Кондолы! – Закованы! – Раскуйте нас! – Кем из нас?» Какие времена, такие игры. Были мы свидетелями и целинной эпопеи, когда, потревоженная тракторами, заповедная степь поднялась в воздух – вместе с пастбищами, сакральными курганами, останками древних городищ, мазарами предков, и полетела по свету; в соседнем Алтайском крае машины днём ездил с зажжёнными фарами – воздух почернел от целинной земли, она уходила из под ног, но потом наша страна стала крупнейшей в мире житницей. Были мы очевидцами и первых шагов в Космосе – люди орали от радости и обнимались на улицах, и повторяли в восторге: «Гагарин! Наш человек полетел, наш!» И снова – Казахстан: Байконур ведь у нас, и все космонавты улетают отсюда и возвращаются сюда. Пережили мы и несколько войн, в том числе Холодную войну; и набатный БАМ, чьи рельсы теперь ржавеют в тайге, но зато молодёжь, жаждущая подвигов, была брошена на БАМ и целину и не помышляла о революциях, войнах и наркотиках. Теперь я думаю – это было мудрое решение советских правителей. Мы чествовали победителей минувшей войны, но видели также инвалидов Второй мировой, без ног, которые, звеня боевыми орденами на выцветших гимнастёрках, раскатывали на тележках (вместо колёс – подшипники) по базару и просили пятаки: герои на войне, не все стали героями в мирной жизни. Им подавали сгорбленные старушки – вдовы Первой мировой. Мы видели подготовку к новой войне – атомной: к ней подталкивала Америка, и надо было обороняться. И опять Казахстан, Семипалатинск! Семипалатинские

земли пережили 450 Хиросим. Гудела сирена. Нас, детей, сгоняли в подвал школы, в мастерские, где мы пережидали волну взрывов на атомном полигоне. Потом в школьном буфете нам бесплатно давали молоко.

«Мы, рождённые на зоне, / Пели даже на цепи, / На секретном полигоне / В термоядерной степи. / За мотив меня народный / Не казни и не карай. / Нас на бомбе водородной / Запустить пытались в рай. / Трио двигателей взвыло, / Взмыло судно из огня... / За мгновение до взрыва / Бог помиловал меня...»

Так писал семипалатинский, а ныне известный российский поэт Владимир Бояринов.

Мы жили в «застойные» 70-е и в обманную «оттепель» 80-х. Мы жили в 90-е годы, которые называли «лихими»: ГКЧП, предательство Горбачёва, помеченного пятном на лбу – воистину, Бог шельму метит! – штурм Белого дома, танки на улицах Москвы, вечно пьяный новый президент Ельцин, который плясал и дирижировал оркестром в Германии, откуда велел вывести наши войска и вскоре туда вошли войска НАТО; Ельцин, который в 1991 году подписал Беловежское соглашение – смертный приговор СССР, хотя 95% населения было против, и потом Ельцин радостно отчитался о крахе нашей державы американскому президенту – это невиданная подлость; война в Чечне, обезглавленные русские мальчишки-солдаты, озверевшие «чехи» (так звали чеченцев), на чьём знамени был борз-волк, арабские наёмники, обросшие чёрными бородами людоедов, мирные люди, ставшие заложниками циничных политиков, сироты – много сирот, вдов, беженцев. Брат московского политика Руслана Хазбулатова, чеченский поэт Ямлихан Хасбулатов, которого я переводила, писал горькие строки:

«Я жду, когда в сон упаду, / И встречу, обнявшись, с родными. / Они побывали в аду – / В огне смертоносном и дыме. / Забрал их на небо Аллах. / В горстях моих пелел и прах, / Но рад я, когда засыпаю / И вижу их в грёзах и снах. / Они улыбаются мне. / Мы вновь под родительским кровом – / Он цел, и застолье во сне. / Все живы, нет взрывов и крови, / Нет мёртвых на отчем дворе, / И весел сосед неубитый... / Дай сон мне на белой заре, / Дай сон мне – счастливый, забытый. / Но только, свой лик наклоня, / Бессонница мучит меня. / С тех пор, как взорвали мой дом, / Не сплю я ни ночью, ни днём...»

Ямлихан родился в Казахстане, в семье ссыльных. Потом они вернулись в Чечню. Приезжал несколько раз в Алма-Ату из Грозного, бывал у нас с Мирабо, и мы слушали его грустные рассказы и горевали вместе с ним. Его рассказы так нас потрясли, что мы кое-что продали и вырученные средства через Красный Крест отправили поэтам, которые оставались в воюющей Ичкерии, которым некуда было бежать. Надо сказать, наши русские поэты, и в особенности просторовцы, неоднократно помогали (и помогают!) писателям, попавшим в беду. Это нормально, тут нет ничего из ряда вон выходящего. А вот вокруг нас тогда всё выходило из нормального человеческого ряда: по всей вчера ещё огромной державе разруха, разброд и шатание. Страна, как лопнувший кувшин, распалась на пятнадцать неравных черепков, и каждый черепок стал гордиться своей независимостью от кувшина, но не мог уже напоить ни чистой водой, ни молоком. Прежние идеалы рухнули, новые не родились. Целое поколение, начавшее взрослеть, было потеряно в эти годы, утратив прежние ориентиры и духовные ценности. Снова нищета и позор: закрывались заводы и фабрики, разваливались колхозы, на рынках, рядом с безработными пролетариями, торговали учителя, врачи, музыканты. Вся страна

превратилась в один большой китайский рынок. Появилось новое сословие – «челноки»: нагруженные огромными клетчатými сумками, тащили они товар из Турции и Китая. По стихийным барахолкам ходили сборщики подати – пузатые, с золотыми цепями на волосатой груди, чавкающие жвачкой. Торговки звали их в шутку «любимые». Завидят на горизонте – кричат:

– А ну, бабыньки, вытряхайте заначки из штанов – любимые идут!

Бывали дни, когда мы с Мирабо раздумывали, что купить: ещё одну буханку хлеба или два яйца, но зато постройнели – я весила 45 кгэ, а у Мирабо пупок прилипал к позвоночнику. Была такая история: одна женщина достала где-то кусочек сыра, как та крыловская ворона, и спрятала в холодильник – для маленького сына, а муж ночью прокрался к холодильнику и сожрал весь сыр. Женщина в ярости подала на развод, и судья – тоже женщина – немедленно развела её с преступным мужем. В то время популярна была песенка – о том, как парень соблазнял девушку: *«Два кусочка колбаски / У тебя лежали на столе. / Ты рассказывал мне сказки, / Только я не верила тебе...»* Однако колбасу мгновенно съела и попросила добавки, иначе отказывалась соблазняться. Переиначили и старинный романс о калитке. Теперь пели так: *«ОтвАри потихоньку калитку»*, и анекдот ещё ходил: если стучишь к соседям и они долго не открывают, значит, что-то едят. В пустых магазинах иногда продавали синих кур, которых в народе прозвали «Птицы счастья», и пахнущую аптекой баранину – «тощак». Умиравших своей смертью барашков, видимо, пытались реанимировать. И за дохлыми курами, и за «тощакoм» стояли очереди. Появились талоны, как в войну, по которым выдавали почему-то турецкое мыло. Никакого другого мыла вообще не было.

Газета «Аргументы и Факты» объявила страшную – для того времени – новость: в стране свершилась криминальная революция, власть срастается с преступниками! Теперь-то это повседневность и никого уже особо не потрясает, ведь, по сути, все революции криминальны. Любая революция кончается войной. И у нас началась третья мировая война: информационная, торговая и террористическая, а ждали – атомную.

Есть старинное китайское проклятье: *«Жить вам в эпоху перемен!»* В такую эпоху мы и жили, и она никак не кончалась. *«И вечный бой! Покой нам только снится!»*

Происходили перемены-катастрофы и в Природе. Иногда все листья в нашем саду обугливались и скручивались от ожогов, трава и ботва овощей желтела – выпадали кислотные дожди. Когда запущенные с Байконура космические ракеты прожигали небо, когда сбрасывали свои ступени и отравляли Степь, мы болели, как и от наземных испытаний на недалёком от нас ядерном полигоне Лобнор в Китае. И всё же...

«Не проклинай минувшее, оно / Всегда прекрасно, потому что – было. / Горяч шоль от огненных кобылок, / От огнецвета, и полным-полно / В траве ромашек и цветущих былок, / И скуки нет, а нынче всё томятся. / В морозный день особенно искрятся / Снежинки, потревоженные вдруг / Церковным звоном. / Хоть нельзя нам верить, / А всё же мы скорей ныряем в двери, / И на горушку, на блестящий круг – / Оттуда лучше видно, как сияет / Небесный купол в звёздах, и как стаей / Срываются голубки с чых-то рук. / Какой восторг! И мы лететь готовы, / Хоть кубарем, хоть на санях кленовых, / С горы, до самой кромки Иртыша. / Смеются

наши мамки молодые, / А с ними и отцы, с войны седые, / Что самокрутки курят не спеша. / А звон плывёт, густея понемногу, / И видно в небе светлую дорогу, / Так близко – только руку протяни... / Уж никогда не быть нам ближе к Богу, / Чем в дни былые, чем в былые дни...»

В былые дни было у нас и чистое детство, и любовь, и счастье – несмотря ни на что! В доме моих родителей собиралась большая родня. На столе порой кроме картошки в мундирах да солёного арбуза и не было ничего, но никто не унывал песни пели, плясали под гармошку. Гармонист выкрикивал: «Кто пляшет за Семипалатинск?» В круг вылетала мама и чечётку била. «Кто пляшет за Павлодар?» Опять мама, «Цыганочку» выводит. «Кто пляшет за Алтай?» Конечно же, мама: и за Алтай она пляшет, и за всю огромную, непобедимую страну. Я пишу об этом, потому что мои воспоминания – это не только моя биография и рассказы о человеческих судьбах, о творчестве и любви, не только веселие жизни, а и некий срез времени, особые его приметы, которые стираются в памяти новых поколений. Мы жили в эпицентре этого сумасшедшего времени, но любовь пересиливала трагедию бытия, была над ней. Бабушки отказывались умирать, пока не досмотрят очередной мексиканский сериал – о яркой, невиданной жизни, о красивой любви, которая вырывает из нищеты, которая делает богатым.

Профессор филологии, поэт, переводчик и прозаик Берик Магисович Джилкибаев писал в то время свою многостраничную книгу «Казахский эротический роман», где рассматривал любовные истории в исторической перспективе, в контексте мировой литературы, в сердцевине казахского фольклора, и это было уникальное своей оригинальностью и чистотой произведение. Там нет пошлости. Там только высокое искусство любви и жизни.

Мы с Мирабо тоже постигали такое искусство, и это был головокружительный полёт над бездной мирового зла! Любовь стала нашей крепостью, и мы неохотно выходили за ворота этой крепости – неохотно отвлекались на быт и мировые проблемы.

Дом

...И всё же отвлекаться от «полётов» приходилось! Первым делом я выскребла и побелила дачные комнаты, перемыла окна и посуду. Появились занавески, чистое бельё, коврики. Мартик был выселен во двор и сидел теперь у порога Дома, смиренно ожидая моей благосклонности. Ярик и Мирабо должны были входить, снимая обувь, и Ярик жалел Мирабо:

– Да, отец, тяжело тебе живётся!

Но для поддержки влюблённого родителя Ярик отдал ему свою новую рубашку и белый свитер.

Дачные соседи крутили пальцем у виска:

– И ведь нашлась же кака-то дура на нашего иностранца!

Мирабо так и не стал своим на родине. Французом прожил.

Жалели меня:

– С утра до вечера, бедняжка, шишлится. Прежняя-то хозяйка не больно старалась, папиросой токо дымила! И охота новой-то чужу грязь вывозить?

– Видать, охота, раз ума нет. А так-то хорошенька, молода ещё против нашего мираба...

Но я не слушала пересуды. Собирала клубнику для варенья, пропалывала морковные грядки – поначалу, по незнанию, вместе с морковью, драила Дом. В Доме нашем запахло пирогами. Бабушка Таня учила меня: «В настоящем доме должно пахнуть пирогами!» Изголодавшийся Мирабо, а с ним и Ярик, переживали гастрономический катарсис и сами не верили своему счастью, и я вместе с ними – у меня вновь была семья, муж, Дом. Но Дом был всё время настороже. Он вредил мне постоянно. То обрушит штукатурку с потолка. Мирабо стоит рядом и ему хоть бы что, а я – вся в пыли и глине. То поцарапает гвоздём, подбросит под ноги битое стекло, ткнёт диванной спицей сквозь простыню, саданет кирпичным углом веранды и на боку у меня нарисуетя чёрный синяк. Но я всё терпела и не жаловалась Мирабо на мою тайную войну с его Домом, только думала с грустью: «Всё же мужчины после смерти добрее женщин. Мой покойный муж не мстит мне, а Эгле, получается, мстит... Но что я хотела? Пришла в её Дом, в её Сад, на её место, завладела её Мирабо. Всё перевернула вверх дном, всё переиначила, нарушила дух её Дома...» И я слышала её укоряющий голос, её слова-заклинания:

«Здесь мой дом. Здесь я всё люблю: / Стебель розовый. Ночь туманную. / Здесь – я зодчая, здесь леплю / Слово вечное, речь обманную. / Здесь – не знаю я, здесь я мучаюсь, / Здесь порожек в моих слезах. / Здесь я – женщина, здесь я – лучшая, / С песней медленной на губах! (...) / На моей земле – ничего не строй: / Ни колодца, ни пня, ни дерева! / На моей земле – ничего не тронь! / Я тебе никогда не верила...»

Я её не винила. Но мне было плохо, потому что я винила себя и пыталась оправдаться и оправдать «дух распада», который хозяйничал теперь на её земле. Тень Эгле отворачивалась от меня, и от Мирабо уже отворачивалась, уходила, и голос её слабел, становился воздухом, дыханием ночного ветерка:

«Ты думал: я уже мертва? / И не смею уже, не плачу? / Но, дорогой мой, / Черта с два / Я на тебя всю смерть истрачу!»

Всё же не простила: ни меня, ни Мирабо...

А вокруг, несмотря на «дух распада» в рукотворном саду, несмотря на печаль, разлитую по земле Эгле, вокруг – в мире нерукотворном – такое благолепие! Зелёные холмы и поля в разнотравье. По ним ходят кеклики, фазаны, и на закате слышны их далёкие голоса. Небесные Горы в облаках. Горлинки едят у меня с руки. Мартик глядит влюблённо. Нет, хорошо!

Я приносила с холмов огромные букеты полевых цветов, украшала ими зеркало с отбитым краем, потемневшие от старости тумбочки, полки с черепками и керамикой, которые Мирабо когда-то привёз из Отрара, где бывал с экспедициями археологов, дружил с Аланом Медоевым. Всюду у меня были полевые цветы, а вот к тепличным я относилась равнодушно, хотя каждое утро на подоконнике у себя находила несколько веток свежих роз – Мирабо срезал их для меня. Но без Эгле заниматься розами ему не хотелось, и уж тем более ездить в город продавать, я же, как ни пыталась разбудить в себе гены предков-земледельцев, так и не разбудила, и вскоре капризные розы поникли, выродились в шиповник. Из ночной темноты мерцали их горящие в лихорадке бутоны. Так умирающий от чахотки с жадностью и ненавистью смотрит на живой, здоровый мир. Розы ненавидели меня. Если я проходила мимо, больно царапали, тянули ко мне колючие стебли, пока не добивались крови.

Они тосковали по Эгле. Они погибали.

Цветение таволги

По небу шла кошка Живодёрка. Было так темно, что в темноте пропадали очертания тепличных перекладин, и потому казалось, что Живодёрка шла прямо по небу – белая, как приведение, с мерцающими зелёными глазами. В зубах она несла суслика. Поймала ещё вечером, но всё трепала, всё не ела. Внизу урчал Мартик, требуя добычу отдать – он во дворе хозяин! Но Живодёрка весело поглядывала на него и продолжала свой путь по небу.

Мирабо попыхивал трубкой, рассказывая о своей жизни с Эгле. Я пила чай с душицей и тоже рассказывала, как жила сорок шесть лет без него. Теперь это казалось невероятным: как, в самом деле, я так долго жила без него? И куда девались мои прежние влюблённости и большая любовь? Ведь они были. Всё было – и ничего нет. Только Мирабо, травяной дым его трубки, кошка, идущая по небу с сусликом в зубах, Мартик, рычащий на неё из зарослей шиповника, ночь. И больше ничего. Только этот круг жизни, освещённый внезапно вышедшей из-за гор луною.

Сияние ночи переходило в сновидения. Я спала – и не хотела просыпаться, хотя ночь пролетала одним мгновением и брезжило утро, и я видела пробуждающийся мир, но сама всё ещё спала, и мир тоже не хотел окончательно просыпаться, околдованный моими снами о счастье.

...Ручьём струится по траве змея, голубоватая от утреннего холода. Бежит коза, копытцами звеня, к запретным водопадам винограда. За ней с горы ползёт слепое стадо, и спит пастух, и сполз кафтан с плеча. И сонный ослик тащит пастуха по облакам тумана над рекою. И я, к далёким голосам глуха, я тоже сплю, припав к тебе щекою. Мне снится счастье, полное покоя, и жизнь вдвоём, и юности огонь. И если прикоснусь к тебе рукою, услышит сердце тёплая ладонь. И облаками небеса кипят, склоняя мир оцепеневший к лету, и дышит в окна яблоневого сад, и в руку сон – он сбудется к рассвету...

Утром мы всегда просыпались радостно. Еще не разлепив глаза, протягивали руки, находили друг друга, обнимались – и ещё крепче зажимали веки. Был страх – проснёшься окончательно, и жизнь тебе скажет: всё было сном, ночным наваждением, миражом. Нет, нет, всё было правдой! На этот раз, проснувшись, увидели мы в распахнутых окнах зелёные холмы, запорошённые снегом. Вот чудеса! А это расцвела таволга. Её медовый запах медленно разливался по округе – тягучий, сладкий, тяжёлый. Навстречу ему плыл такой же тягучий дух цветущей липы. Над дачами повисло хмельное облако. От него кружилась голова.

Упырь

Мирабо решил окашивать сад. Наточил косу, попробовал лезвие. Оно сверкнуло небесной синевой. Несмотря на свою «голубую кровь», Мирабо был рукастым и многое умел делать руками (когда хотел). Делал даже «французский сыр», который вызревал у него в подполе. Дух от этого сыра был такой невыносимый, что я просила Мирабо есть сыр прямо в подполе, не поднимая наверх.

После дождей трава разбойничала повсюду, вытесняя всех. Теперь она шумно ложилась духмяными снопами у ног Мирабо. А я решила сварить клубничное

варенье. Расставила на садовом столе миски и тарелки с клубникой, отсыпала в медный таз мерки сахара. Мартик внимательно глядел на меня, пытаясь внушить мне, что варенье – не самое лучшее занятие для приличной хозяйки. Гораздо приятнее изготовление котлет или супа из косточек. Но я не поддавалась на его гипноз. Тогда он лениво зевнул и поплёлся под яблоню, в тень, но по дороге несколько раз оборачивался: не передумала ли я?

Мирную идиллию нарушил зверский рёв подъехавшей легковушки. Из неё выскочил брат Эгле – Упырь. Прозвали его так за красное лицо и большие оттопыренные уши. Упырь был кандидатом технических наук и считал, что достиг невиданных высот, отчего и глядел на всех свысока. Каждый год отмечал он день защиты диссертации, напивался, кричал: «Я большой человек! Я достиг!» А между тем работал он в каком-то вшивом НИИ младшим научным сотрудником и никуда не рос. В девяностые годы многие НИИ стали закрываться. Закрылось и НИИ Упыря. Он остался без работы, но не растерялся и открыл своё «дело»: изготавливал железные решётки для окон и дверей, а также могильные ограды. Сделал даже себе железную клетку – на случай землетрясения, где держал запас воды, продуктов и, возможно, свою диссертацию.

Познакомилась я с ним всё на тех же похоронах его сестры Эгле. Несмотря на горе, Упырь то и дело подсаживался ко мне, норовил взять за руку, повторял:

– Не забывайте, что вы очень красивая женщина!

Почему я должна была помнить об этом именно сейчас, у гроба его сестры – непонятно, а Упырь между тем выхватил из гроба три гвоздики и решил подарить мне. Я шарахнулась и от него, и от этих гвоздик:

– Вы с ума сошли!

И потом держалась всё время Руты, чтобы Упырь не мог ко мне приблизиться и не придумал бы ещё что-нибудь «весёленькое», а сама – как бы невзначай – поглядывала на себя в лакированный бок пианино: неужели и в самом деле красивая? Пианино выдавало искажённое, удлинённое лицо с кривой шеей, как на известной картине Модильяни. Зеркала же завесили простынями и нельзя было рассмотреть себя хорошенько. Ах, беда!

И вот теперь этот ненормальный Упырь влетел на дачу с криками:

– А-а, мать-перемать! – и пошёл на Мирабо тараном. – Вместо того, чтобы с бабами (та-та-та!), лучше бы о сыне подумал! Старый развратник! Паразит!

Упырь был страшным матершинником, даром, что кандидат наук.

– Ты хоть знаешь, где твой сын? – орал Упырь.

Ярик недавно вышел на свободу после ограбления ларька. Устроился на стройку, но дня через три работа кончилась.

– Что случилось? – расстроился Мирабо.

– Ничего! Отпуск дали!

– Через три дня? За что?

– За трудовые успехи!

Ярик то пропадал в городе, где у него были какие-то секретные дела, обедал у дядьки, гудел с друзьями и подругами на городской квартире Мирабо, то приезжал на дачу, харчевался у нас несколько дней, отлёживался на своей половине, пуская кольцами сигаретный дым. Мирабо гнал его снова на стройку или на курсы шофёров. Ярик брал деньги на курсы и – пропадал. Заявлялся через несколько дней, чёрный, в синяках, с мутными глазами. Врал, что деньги у него украли.

потому на курсы он не попал, да ещё избили. Заваливался спать и спал несколько суток. Потом опять уходил в ночь.

– Да почему ты шляешься-то по ночам, а днём дрыхнешь? Помог бы мне на даче, – сердился Мирабо.

– Не могу.

– Почему?

– Я солнца боюсь. Мне только ночью хорошо, потому что я, наверно, вампир

Они боятся солнечного света, вот и я – боюсь.

И он ушёл в ночь. Мы его не видели уже неделю. Оказывается, он снова загремел в милицию. Пытался угнать чью-то машину. Милиция давай названивать дядьке. Упырь выкупил племянника и запер в своей железной клетке, как зверя, и сам расвирепел, как зверь. Вот и примчался к нам на дачу, и стал орать. Отпихивая Мартика, забежал в Дом, выкатил холодильник:

– Это в оплату за выкуп, что я милиции дал!

Корячась и ещё больше краснея, стал загружать в багажник легковушки. Покончив с холодильником, вновь набросился на Мирабо, вновь затрещало его «та-та-та», а для большего эффекта он хватал посуду со стола и запускал в Дом. Во все стороны летели острые брызги и кровавые ошмётки клубники. Мирабо молча смотрел на разбушевавшегося Упыря, а тот, перебив посуду, накинулся на меня, обзывая самыми ужасными словами. Тут Мирабо не выдержал и пошёл на Упыря с косой. Упырь попятился, но орать не перестал:

– Белогвардеец грёбаный! Мать твою (та-та-та!)

У них завязалась драка. Они упали в клумбу с пионами и мутузили друг друга. Мирабо придавил Упыря, но тот не сдавался, хрипел:

– Сестру мою... забыл, всё забыл... ради этой... (та-та-та!) Ты ей в отцы годишься (та-та-та!) А она – брачная аферистка! Оттяпает у тебя квартиру и дачу, а тебя отравит! (та-та-та!) Это дача моих родителей! Это моя дача! А ты тут никто! И эта (та-та-та!) никто! Я кандидат наук, а ты неудачник! Махновец!

Мирабо отпустил его, встал, весь в красных пионовых лепестках:

– Да почему махновец-то? Я с Махно даже знаком не был. Дочь его, Елену, знал, а самого Нестора Михненко не имел чести! Так что, ты зря это, Генри, зря...

Я тихо зашла в Дом, собрала свою сумку и вылезла в окно, выходящее в теплицу. Продираясь сквозь задичавший розарий, выбралась на дорогу и пошла к автобусу. Ехать мне было совершенно некуда. Сын мой женился, привёл молодую жену, и они, кроме зала, заняли ещё и мою комнату, отрезав мне тем самым все пути к отступлению. В квартире жил и отец моего покойного мужа Олега, Геннадий Николаевич. Было ему 84 года. Жил там и старший брат Геннадия Николаевича, дядя Саша – большой, шумный. Ему было лет 87, наверно. В войну служил на флоте и всю жизнь носил тельняшки. Каждое лето приезжал из Иваново любоваться нашими восточными красавицами. И теперь приехал – на всё лето. Мне неизменно привозил вырезки из ивановских газет с брачными объявлениями, подчёркивая красным карандашом наиболее, на его взгляд, интересные для меня:

«Инвалид третьей группы, но ещё дееспособный, ищет женщину для совместного проживания. Имеет дом, огород 15 соток, восемь кур».

«Ветеран войны с небольшим дефектом готов жениться на женщине без вредных привычек, стройной, можно с квартирой».

Мне было интересно, в каком месте у ветерана дефект? Ну и к тому же у меня имелись вредные привычки – я писала стихи.

Геннадий Николаевич сердился на брата за сводничество, осуждал за его страсти к молодым красоткам, стыдил, но дядя Саша сверкал озорными глазками, опрокидывал стопочку и хлопал брата по хлипкой спине:

– Эх, Генка! Жизнь-то вот она! Кипит! И сноха твоя ещё ничё, чё ж ей пропадать? – и снова поднимал стопочку, приговаривая: – Ну, выпьем! Под столом встретимся!

Он всё время что-нибудь праздновал. Спросишь его:

– Дядь Саш, что нынче-то за праздник?

– А ты не знаш? Касимова, Гулимова, Лентяя преподобного! – А то так ответит: – Большой праздник! Переноска брюк с крюка на крюк!

На самом деле он просто праздновал Жизнь и радовался каждому дню. В этом, наверно, и заключался секрет его долголетия. Он прожил сто лет!

Домой мне было нельзя. Там – коммуналка! К Милому другу тоже нельзя – я его разлюбила, да и он завёл себе новую подружку – разбитную деваху, официантку из кафе «Театральное», куда заходил после вечерних спектаклей выпить вина. Встретив Мирабо, я будто очнулась от тихого помешательства и не могла понять, как могла увлечься Милым другом? Милый друг мне был больше неинтересен, но и к Мирабо нельзя.

«Что ж, – думала я, – Упырь прав. Эгле в земле. Ярик в клетке. И мой муж в земле... Какая тут может быть любовь? Мы не имеем права на счастье...»

Круги счастья

Автобус катил по чистой после дождей дороге. Отвернувшись к окну, я плакала и плакала, и удивлялась, откуда столько слёз берётся, и находила особую радость в этих нескончаемых слезах.

Люди говорили о хорошем урожае ягод, везли полные корзины черешни, она была чистой, лаковой. Лесные запахи клубники струились из завязанных марлей ведёрок. Белые головки молодого лука свесили из кошёлочек зелёные хвосты. Узорными облаками вырывались оттуда и пучки петрушки. Люди словно не видели меня, плачущую и плачущую, словно я была в другом измерении или в других временах. Сквозь меня глядели они на зелёные холмы в окнах, на ослепительно синее небо, каким оно бывает только на юге, на взлетающие свечками тополя вдоль дороги и на клубящиеся зеленью сады. Напор зелени был таким сильным, что разрывал металлические решётки оград. Сады выходили из ограждений и шли к горам, к дороге, к клеверным полям.

В автобус впихнулась здоровенная тетёха с тяжёлым рюкзаком и букетищем аптечной ромашки. Она громко оповестила всех:

– Ну я нынче и рахатнула! От души!

Я засмеялась на её словечко «рахатнула» и плакать перестала. Люди тоже засмеялись, но отдельно от меня.

Со мною рядом ехало южное лето, которое переливалось через край, которое было счастливо. Я и сама была счастлива, хотя отправилась в никуда, хотя сбежала от Мирабо. Но только теперь, сбежав от него, я поняла, что люблю Мирабо, что он, наверно, в самом деле, моя судьба, но мне к нему нельзя. И слёзы хлынули с новой силой.

* * *

Так я плакала и когда-то давным-давно, в юности, когда любила моего художника, а потом, как мне казалось, предала его, влюбившись в будущего мужа Олега, и так же кружила по городу, только на троллейбусе, запутавшись в любовных чувствах и думая, что жизнь кончена. Троллейбус вставал на обед, меня выгоняли. Я бесцельно брела по улицам, снова не помня себя, уставала, садилась в другой троллейбус, и снова плакала. Выходила. Шла наугад. Я казалась себе конченным человеком. Зачем я вообще начала целоваться с Олегом, а потом всё пошло-поехало? Я не хотела жить. Я не знала, что мне делать: без памяти любила художника, но и Олега тоже любила. От этого кружения сердца у меня из носа пошла кровь, и я потеряла сознание. Когда очнулась – какие-то существа надо мною склонялись, разглядывали, глаза выпуклые, как у стрекоз, лапки чёрные поджаты, верещат:

– Солнечный удар... жарко... жарко! Удар, угар, у-у-у...

Лили мне на голову воду, умывали. Посадили на скамейку – и улетели. Был вечер. Фонари вспыхивали один за другим. Через дорогу, возле Оперного театра, шумно извергался фонтан. Мимо прошёл странный человек в большом берете и разрисованной хламиде, с холщовой сумой, на которой масляными красками был нарисован голубь мира. Городской чудак – гениальный художник Сергей Калмыков. Он, видно, шёл из театра, где работал. Я подумала, что продолжается мой бред.

– Вы тоже оттуда? – спросил он у меня.

– Откуда?

– Оттуда! – и человек показал на небо, где стали зажигаться первые звёзды.

– Скорее оттуда! – опустила я палец к земле.

Я хотела умереть, и не знала тогда, что жизнь моя будет продолжаться ещё долго-долго, и она будет полна любви. Вот и теперь повторилось это кружение сердца.

* * *

Я ездила на дачном автобусе до вечера, пока не потемнели наши зелёные холмы, только цветущая таволга светилась в небе. И всякий раз, проезжая мимо нашей дачи, видела я у распахнутой калитки бедного Мирабо, который следил за движением автобуса. Люди входили, выходили, снова входили. Я, как заколдованная, сидела у окна и смотрела на Мирабо, а он – на меня. И так за кругом круг. И ничего лучшего, чем этот вечер моего кружения, я никогда не знала.

С каждым кругом всё нарастала и нарастала моя любовь к Мирабо. И страшно было выйти и заговорить – слова бы разрушили всё...

Продолжение следует.

